

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ

**РАДОСТЬ
ВЕЛИЧИНОЙ
С НЕБО**



Леонид Сергеев

**Радость величиной
в небо (сборник)**

«У Никитских ворот»

2017

УДК 82-3
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

Сергеев Л. А.

Радость величиной в небо (сборник) / Л. А. Сергеев — «У
Никитских ворот», 2017

ISBN 978-5-00095-341-9

Творчество Леонида Сергеева отличают проникновенное внимание автора к человеческим судьбам, самобытная интонация, лирический тон и юмор. Его книги переведены на английский, польский и болгарский языки. Автор лауреат Всероссийских и Международных литературных премий.

УДК 82-3
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

ISBN 978-5-00095-341-9

© Сергеев Л. А., 2017
© У Никитских ворот, 2017

Содержание

В горах идут дожди	6
Прослушивая пластинки	14
Мост над обрывом	20
Затемненная часть леса	26
Счастливец с нашей улицы	32
В полдень на улице	38
Словесный портрет одного чудака	45
Дачные впечатления	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Леонид Анатольевич Сергеев

Радость величиной с небо

© Сергеев Л.А., текст, оформление, 2017

* * *

В горах идут дожди

В двадцать лет в моей голове гулял приличный ветер; не ветер странствий, хотя и этот иногда появлялся, и появлялись другие ветры, например, ветер воображения – что-то вроде порыва к творчеству, но в основном гулял охламонский ветер, как говорила моя подружка. И ветер странствий и другие ветры были даже не ветрами, а так – легкими дуновеньями; они быстро стихали, а охламонский ветер дул беспрерывно и мощно. Приятели учились в институтах, а я никак не мог себя найти, прыгал с одной работы на другую – мне было все равно, что делать, лишь бы платили деньги, но и с ними я расставался чересчур легко, попросту транжирил направо и налево; короче, бездумно проводил время, а точнее – гробил бесценные годы.

Временами охламонский ветер достигал ураганной силы и я совершал глупости немалого порядка. Взять хотя бы увлечение фабричной девчонкой, той самой, которая классифицировала мой ветер. И что я завелся, сам не знаю. Обыкновенная, в общем-то, девчонка, каких полно. Ничего особенно в ней не было. Больше того, она имела неважнецкий воинственный характер, любила командовать и говорила как-то по-армейски: вместо «послушай меня» – «посмотри на меня». Настоящий офицер в юбке! Частенько шпыняла меня за каждый промах, говорила, что мой ветер вырвался наружу, что я и внешне похож на охламона и что это сходство с каждым днем увеличивается.

Вначале я в себе ничего подобного не замечал. По моим понятиям, охламоном являлся непутевый, безалаберный парень, а я все-таки кое-где работал. Что она имела в виду, трудно сказать, может, не знала значение этого слова, может, просто таким образом подогревала мои чувства к себе. Так или иначе, но она заронила в меня зерна сомнения – посматривая в зеркало, я и в самом деле стал находить у себя какие-то охламонские черты.

Она была старше меня на два года, у себя на фабрике считалась «лидером», и потому сразу захватила инициативу в наших отношениях. И объявила мне войну – решила меня переделать; она наступала, а я оборонялся. Ясное дело, были и перемирия, не без этого, но в основном шла война, и она постоянно побеждала, то есть я все делал, как она говорила, и ходил за ней, будто пленный, которого ведут в рабство.

А уж сколько я поджидал ее после работы, и говорить стыдно. Все лето, словно в полусне, проторчал у фабрики, в общей сложности часов триста, не меньше. За это время мог бы осилить не одно собрание сочинений или выучить какой-нибудь язык. Где там! Стоял на вахте, как часовой.

Ради этой девчонки, я забросил очередную работу и в сентябре, когда она пошла в отпуск, в моей голове подул ветер странствий, я предложил ей махнуть на неделю в Крым. До этого и она и я видели море только на картинах, а о некоторой экзотике, вроде магнолий, инжира и вовсе не слышали. Денег у нас было в обрез, но зато мы имели палатку, а палатка – лучшее жилье для странствующей молодежи. Всякие дачи привязывают к месту, а палатку ставишь, где вздумается, хоть в парке на газоне. Где понравилось, там и ставишь. И ни от кого не зависишь, и все вокруг твое: деревья, часть пляжа, скала. Надоел пейзаж, находишь другой.

В те времена, когда мы отправились в Крым, палатки разрешалось ставить по всему побережью. Конечно, пограничникам, как всегда, всюду мерещились шпионы, но они еще отличали неорганизованных туристов от иностранцев. А милиция еще занималась своим непосредственным делом – ловила преступников, а не штрафовала за отдых без прописки и не измывалась над теми, кто носил шорты, бикини – что стала делать, когда поняла, что с преступностью ей не справиться. В общем, палатки разбивались в пограничной зоне, и были даже целые палаточные городки с «кухнями» и «клубами», где по вечерам играли на гитарах и пели. Эти городки существенно отличались от таборов «хиппи» и стоянок автотуристов, которые появились позднее. В таборах тусовались бездельники всех мастей, из тех, кто выражает протест всему и вся,

но, само собой, разрушать легче, чем создавать. «Хиппи» жили «отвязано» (по их понятиям – свободно), но опять-таки свобода-то нужна для созидания, а не для праздного безделья. К тому же, эти компании «баловались травками», чтоб забыться, а это уже вырождение чистой воды.

Автотуристы, понятно, представляли зажиточный класс (по нашим меркам) и разговоры в этом клане велись, тоже понятно какие, – «эта машина лучше, та хуже», «здесь дороже, там дешевле». У этих людей жизнь шла по накатанному пути.

А в первых палаточных городках обитали студенты романтики; они жили будущим, но и находили радость в настоящем. Скажу больше – они были заражены безмерной радостью, и с утра, как просыпались, всем желали радости, потому и общение между ними происходило совсем на другом уровне – радостном. К студентам примыкала рабочая молодежь, свободные художники и прочие группы из числа малоимущих.

Но я забежал вперед – все ветер куда-то уносит. Теперь в моей, уже старческой, голове другой ветер – ветер, который возвращает прошлое. Посещают голову и еще кое-какие ветры – сомнений, недовольства собой – опасные ветры, они выветривают все стоящие мысли, которые и без того приходят крайне редко. После этих ветров появляются головные боли. А когда дует ветер из прошлого, передо мной встает беспечная юность, и все, что в ней было, кажется не таким уж плохим. Но, конечно, этот ветер имеет печальную окраску.

Начну с ночного поезда, на который мы достали билеты, поскольку с него и начались наши приключения, вернее, мои приключения. Как только разложили вещи, приятельница сразу прошествовала в конец вагона и уселась играть в карты с какой-то компанией. Она называла себя «азартным игроком в дурака». Еще она любила солдатские анекдоты и была помещана на курсантах военных училищ. В то лето оба ее курсанта (она встречалась одновременно с двумя) были на сборах, и я как бы заполнял вакуум. Кстати, один из курсантов должен был стать моряком, а другой летчиком, и она никак не могла решить, за кого выходить замуж. Перед отъездом на юг, призналась мне:

– Пряма разрываюсь. Костик-моряк красивый до жути и форма у него клевая, но, посмотри на меня, он все время несет чепуху. А Юрик-летчик от меня без ума, но его зашлют на Камчатку. Что ж, и мне там маршировать?! Очень надо! Пряма разрываюсь. Ты как поступил бы на моем месте?

Отношения со мной были для нее полигоном, где она отработывала тактические ходы. Сейчас-то я нашелся бы, что ответить на ее безобразный вопрос. Например: «Ты правильно сделала, что выбрала третьего, гражданского» (имея в виду себя). Но тогда хлопал ушами и сильно ревновал ее. Сказать, что она была легкомысленная, было бы поспешно, скорее, она не могла решить, что лучше: море или небо?

После ее признания я, наконец, понял, почему она считала меня охламоном – во мне ничего не было военного: спина не прямая, походка не твердая, аккуратности никакой, в голове не четкие мысли, а ветер. И, вдобавок, впереди – не звезды на погонах, не море и не небо, а отсутствие и самих погон, и безрадостная суша, какая-то голая степь.

Но я отвлекся. Опять ветер виноват – заносит в сторону, и все тут. Вернусь в вагон.

Так вот, пока моя подружка резалась в карты, а я рассматривал пригороды за окном; на одной из станций в вагон ввалился рыжий парень с теодолитом, присел рядом со мной и сразу:

– Москвич? Ты как, насчет спиртяшки? Со случайным попутчиком выпить и потрепаться лучше всего. Сейчас будет остановка, сбегай, приобрети закус, а я пока стрельну у проводника стаканы.

Несмотря на позднее время и усталость, ветер в моей голове не стихал и я тут же согласился; как только поезд притормозил, выскочил из вагона и оказался на полутемной платформе с двумя киосками, из одного сочился тусклый свет.

– Есть бутерброды? – спросил я у сонной киоскерши.

– Только ливерная колбаса. Могу дать хлеба.

– Отлично. Хлеба и немного колбасы.

– Сколько метров?

Заметив, что я не владею ситуацией, киоскерша пояснила:

– У нас она на метры.

– Ну, метр.

Киоскерша отмерила линейкой серую жирную кишку, свернула, точно кабель, и протянула мне.

– «Собачья радость» отличный закус, – сказал парень, когда я появился в вагоне. – Я здесь делал съемку на спиртовом заводе. Их начальник говорит: «Канистру прихватил?». «Нет», – говорю. «Эх, ты, олух!» – говорит, и надузырил мне в камеры.

Парень расстегнул куртку – он был опоясан велосипедными камерами. На одной открыл ниппель и налил в стаканы спирт.

– Чистоган, конечно? – обратился ко мне.

Я кивнул, чтобы поддержать марку москвича.

– Со случайным попутчиком выпить и потреться лучше всего, – парень вернулся к началу разговора. – Выговорился и, может, больше и не увидишься. Ну, бывай!

Мы выпили и я сразу опьянел. Ветер в голове стих, но появился густой туман; пытаюсь что-то сказать, но получается бессвязный набор звуков.

– Хм, слабенькие вы, москвичи, – усмехнулся парень и нацедил себе еще полстакана.

Дальше он рассказывал что-то захватывающее, где побывал, чего насмотрелся – кажется, вся его жизнь была на колесах. Я ничего не запомнил – туман поглощал все звуки. И не помню, где он сошел с поезда, помню – исчез в темноте, так же внезапно, как и появился.

Наутро меня мучила жажда, но стоило выпить воды, как снова становился пьяным, хоть выжми, снова в голове появлялся туман.

– Посмотри на меня, – сказала приятельница. – Ты бесхарактерный размазня. Кто тебя на что подбоьет, на то ты и идешь, – она презрительно хмыкнула, давая понять, что накануне мое охламонство проявилось во всем блеске.

– Еще раз напьешься, я исчезаю. Только меня и видели! Очень надо! Отдохну одна в сто раз лучше, – из ее рта вылетали слова, которые мне показались пулями из чапаевского пулемета; этот обстрел моментально разогнал мой хмельной туман.

Поезд прибыл в Симферополь к вечеру и мы сразу же сели в автобус на Старый Крым – своего рода перевалочный пункт, откуда начинались маршруты в разные концы побережья. Когда добрались до поселка, солнце опустилось за горы, но на улицах стоял сильный жар; из садов текли терпкие запахи абрикосов и слив, и повсюду гуляли парочки.

Мы разбили палатку на окраине среди подсолнухов, и, после долгой тряски в поезде, отлично выспались, причем перед тем, как укладываться, полузгали семечки и приятельница сказала миротворческим голосом:

– С палаткой ты здорово придумал. Никого не надо упрашивать, чтоб пустили переночевать.

Палатка явно напоминала ей армейскую жизнь; в ее глазах появился манящий блеск. Опуская подробности, скажу – в ту ночь я засыпал как бы под звуки военного оркестра, только иногда вздрагивал, когда приятельница, отвечая на мои объятия, называла меня то «Кости-ком», то «Юриком».

Утром впервые за все лето в моей голове не витал ветер; голова была легкой, как одуванчик, и в ней появились легкие мысли – я смотрел, как приятельница одевается, прихорашивается и вдруг подумал: «А не пожениться ли нам?». Но когда я высказал свои мысли вслух, от приятельницы последовал взрыв смеха. Мои легкие мысли вызвали у нее тяжелый приступ смеха. Отсмеявшись, она выпалила, как из пушки:

– Еще чего! Посмотри на меня, мы будем жить в палатке, да? И шелкать семечки! Ну скажешь тоже! Твое охламонство растет как на дрожжах. Ладно, замнем для ясности. Собирай палатку и барахло!

Вот так, по-солдатски, она и оглушила меня.

Бывалые туристы посоветовали нам махнуть в Новый Свет, сказали «там золотой песок». Туда мы и прикатили с первым автобусом, и, не заходя в палаточный городок, который находился в полукилометре, первым делом сделали заплыв до буйка, а когда вышли из воды, на пляже полным ходом шли приготовления к съемкам какого-то фильма; под солнцезащитным навесом уже всю пестрел, оголенный до предела, киношный люд. Чтобы просто поглазеть, мы подошли к съемочной группе вплотную и очутились в гуще местных мальчишек. Подстрекаемые любопытством, сорванцы носились взад-вперед – были на подхвате, что-то приносили, поддерживали, устраивали обменный фонд: за ягоды шелковицы получали значки, открытки.

Мы не успели разглядеть актеров, узнать, что за фильм, как к нам бросилась женщина с мегафоном; на ее лице сверкала застывшая стандартная улыбка, за которой явно ничего не стояло.

– Я режиссер. Прошу вас. У нас не хватает массовки. Всего один час. Максимум два. И заработаете по пять рублей, и вообще. Не заставляйте себя упрашивать. Танцевать умеете?

Она слишком настаивала, слишком была настырной, и это вызывало подозрение. Я раскрыл рот, чтобы отказаться, но меня опередила приятельница.

– Умеем!

– Не умею, – сказал я, подтверждая свое охламонство не только в глазах подружки, но и режиссера.

– Совсем не умеете? – продолжая улыбаться, женщина просверлила меня взглядом, в котором была надежда на легкое охламонство, но после моего твердого кивка, поняла, что мой недостаток достаточно глубок.

– Мужчина должен все уметь, – с упреком сказала она и, не меняя улыбочивой гримасы, добавила: – Хорошо! Присаживайтесь вон на ту лавку, к той яркой девушке, как бы развлекайте ее, легко, непринужденно. А вы туда, в пару тому танцору, – режиссерша подтолкнула приятельницу к парню в костюме оливкового цвета и закричала в мегафон на весь пляж:

– Все по местам! Приготовились! Начали!

– Классная тетка! – бросила мне приятельница, направляясь к парню.

Два часа делали дубли, я добросовестно развлекал свою партнершу, нестерпимо яркую девицу, даже несколько раз обнял ее и, по моим подсчетам, заработал никак не меньше десятки, но мои старания оказались напрасными – этюд режиссерше не понравился и она, с неизменной улыбкой, распорядилась его вырезать. А приятельница танцевала так горячо, так висла на парне в оливковом костюме, что и сама стала похожа на сияющую оливку. И вошла в историю; ее можно увидеть на экране – какая-то лента Ялтинской киностудии; приятельница таскала на нее всех знакомых. Но это было позднее, а в те дни вирус киномании крепко засел в ней – она настояла, чтобы мы разбили палатку рядом с пляжем и ежедневно бегала на съемки, даже забывала про море и обед. И я, как дурак, таскался за ней и злился от ее насыщенного отдыха, и от своего охламонского прозябания. Хорошо, что через три дня съемки закончились и мы перебрались в палаточный городок.

Самым необычным в Новом Свете было то, что на пляже все три дня сверкало солнце, а рядом, в горах, висели тучи и шли дожди.

Ну, о палаточном городке я уже рассказал; добавлю только несколько установленных там правил. Во-первых, там все считалось общим, все лежало в общем котле. Часто к палаткам прикалывались записки: «Мы уехали в Ялту. Консервы в рюкзаке. Надувные матрацы, ласты, маски под тентом». Второй неписанный закон обязывал научить ближнего тому, что умеешь сам, и вообще, прежде делать для других, а потом уж думать о себе.

По утрам все население городка оправлялось в горы – всем скопом подрабатывали на виноградниках; днем купались, загорали, устраивали волейбольные и шахматные баталии, хлопотали на «кухне» в преддверии вечернего торжества, а они происходили ежедневно (чей-то день рождения, рекордный заплыв, пойманная рыба, написанная картина). События отмечались в «клубе» – гигантской палатке, под дешевое вино, гитары и песни. Некоторые молодые люди (особо общительные) веселились в «клубе» далеко за полночь и спали вповалку, без всяких сексуальных поползновений. Именно там, в городке, я понял, что общность, единение – великая вещь, что в общении люди помогают друг другу развиваться, найти себя, как бы подпитывают своей энергией, и сделал обратный вывод – разобщенность, индивидуализм ведут к обеднению личности.

Приятельнице понравилось в городке, хотя она и заметила, что в нем «не очень строгий и четкий быт», что на съемках все «более организованно и режиссер классная тетка». Вероятно, она хотела, чтобы в городке все ходили строевым шагом под барабанный бой и кто-то возглавлял туристов, вроде громогласной режиссерши. Возможно, она и себя представляла в этой роли, но палаточный городок не фабрика, и в нем ей было трудно выделиться.

Ну а я, нет чтобы обратить внимание на других туристок (кстати, там были целые палатки красивых, веселых студенток), я, простофиля, по-прежнему пялился на нее и ходил за ней, точно пес на поводке, и смотрел ей в рот, ожидая приказаний. Вот так, хотя на юге и ветра в голове вроде не было. Если это называется любовью, то пропади пропадом такая слепая глупость. В этом плане я, действительно, был охлагоном. Здесь приятельница абсолютно права.

Как и во время съемок, три дня в городке нещадно палило солнце, а совсем рядом, в двух-трех километрах, вершины гор как зацепили тучи, так и не отпускали, и там, в горах, шли дожди. Такое соседство соответствовало моему настроению – во мне была сложная комбинация чувств, какое-то весело-грустное состояние. Не как обычно бывает: то весело, то грустно, а одновременно и весело и грустновато. Весело – от беспечного отдыха, грустновато – от того что все вот-вот кончится, мы вернемся в Москву, где приятельницу встретят красавчик Костик и доблестный Юрик, а меня ждет полная неизвестность.

В день отъезда с утра мы наплавались до икоты, накидали в море монет, чтобы в будущем вернуться, собрали палатку, последний раз обошли городок, место съемок – хотели все запомнить, со всем попрощаться, потом подошли к автобусной остановке и стали отсчитывать время до открытия кассы.

Нам не повезло. Когда касса открылась, выяснилось, что билеты на Феодосию распроданы еще накануне (в палаточном городке нам сказали, что из Феодосии ехать на Москву проще и дешевле). В самом деле, к приходу автобуса, на стоянку набилась толпа местных жителей с детьми и корзинами.

– Пойдем на своих двоих, попутная машина подбросит, – скомандовала приятельница и бодро вступила на шоссе.

С опущенной головой я поплелся за ней и со стороны, наверняка, выглядел оруженосцем своей боевой подруги. Я догадывался – ей уже не терпится вернуться в Москву (весь отпуск она разбила на три части и каждому поклоннику выделила по неделе. Я свою получил, и она уже вся была там, где ее ждал Костик или Юрик, не знаю, кто был на очереди).

Начинались горы и дорога пошла на подъем, но приятельница топала довольно резво, я еле за ней поспевал и все оглядывался – не покажется ли попутная машина, желательна легковая. Но машин не было. А вот тучи, висевшие над горами, приближались прямо на глазах и темнело с невероятной скоростью. Вскоре воздух разорвали сполохи молний, грохнуло, как из гаубицы и сверху хлынуло. Мы попали в сильнейшую грозу.

Несколько секунд я соображал, как действовать дальше.

– Доставай палатку! – приятельница кинула на меня суровый командирский взгляд.

Мы прыгнули в кювет, накрылись палаткой, но не натянутая, она сразу потекла, словно дырявый зонт.

– Дура, что согласилась на эту Феодосию, – хмуро проговорила приятельница, смахивая с лица струи воды. – Посмотри на меня, надо было взять билеты на Симферополь.

Как ехали сюда, так и вернулись бы. Чего выдумал?! Весь отдых насмарку.

Дальше она стала развивать тему моего охламонства, в том смысле, что оно достигло крайней степени, и мой ветер пронзил ее до печенок, что я вообще «пустозвонский ветряк». Короче, повела войну на мое полное уничтожение. Ее слова усиливала канонада грома. Я что-то говорил в свою защиту, в том смысле, что, несмотря на охламонство, я правдивый и честный, и, между прочим, добрый; упомянул и о своей порядочности – что всегда встречаюсь с одной девчонкой, а не как некоторые, сразу с двумя курсантами. А что касается ветра, то было бы неплохо, если бы он прямо сейчас унес меня отсюда к чертям собачьим. Я говорил долго, мне было трудно остановиться. Наболело. Да, и я прекрасно знал, что с окончанием отдыха, закончатся и наши отношения. Во всяком случае долго не увидимся, пока она не нагуляется с Костиком и Юриком.

В момент нашей перепалки, послышалось ржанье, крики, ругань. Я вылез узнать, в чем дело. За уступом горы открылась та еще картина! На краю оврага лежала запряженная лошадь, опрокинутая телега и груды ящиков с битыми бутылками.

– Испугалась молнии! Шарахнулась, мать ее так! Убыток! – стараясь перекрыть шум ливня, объяснил возница.

Я помог ему распрячь лошадь, которая, тут же вскочила на ноги. Потом мы ставили телегу, грузили сохранившиеся ящики. Возница был в плаще, а я промок до нитки, весь извоzilся в глине, но, как бы в награду за мой благородный поступок, ливень немного ослабел, а главное, со стороны Нового Света показался «газик».

Я подбежал к приятельнице (уже непримиримому противнику), объявил о машине, начал сворачивать палатку; приятельница бросилась «голосовать».

«Газик» притормозил, шофер – молодой, розовощекий солдат, открыл дверь и кивнул на заднее сиденье. Парень в форме привел приятельницу в радостное волнение. Забыв о моем существовании (а может нарочно, чтобы побольше мне насолить), она стала рассказывать о своих съемках. Тараторила без умолку полчаса, пока впереди не показался небольшой перевал.

– Эх, проскочить бы! – вздохнул солдат.

Дальше он осторожно вел машину, объезжал оползни и завалы камней. Приятельница, затаив дыхание, восхищалась его мастерством, а я посматривал вниз, на крутые склоны и ждал, когда мы туда свалимся.

Ближе к Феодосии ливень прекратился, но в городе нас поджидало жуткое наводнение, которого, как мы узнали позднее, не помнили даже старики. Мы не ехали, а плыли по затопленным улицам. А вода все прибывала. Мутные глинистые потоки несли смытые заборы, ветви деревьев. На привокзальных улицах уровень воды доходил до первых этажей; там уже виднелись крыши затопленных легковушек.

– Здесь повыше, – буркнул солдат и свернул в проулок, но тут же мы почувствовали под ногами течь.

Через минуту мотор заглох и вода хлынула в кабину; когда она дошла до сидений, мы вылезли и очутились по пояс в воде.

– Вокзал там, – солдат показал в сторону широкой улицы, где крутились обширные водовороты. – Я пережду здесь. Позвоню, чтоб прислали «амфибию», – он двинул к ближайшему подъезду.

Приятельница чуть не поплыла за ним, но, видимо, вспомнила про Костика и Юрика, и направилась к улице-реке, а мне крикнула приказным тоном:

– Иди за мной и смотри на меня!

Я пошел за ней, как ординарец, готовый в любую минуту прийти на помощь, хотя втайне и не возражал бы, если бы она захлебнулась. С балконов нам кричали:

– Возьмите правее! Возьмите левее! Там яма!

Вода стала спадать, и когда мы добрались до вокзала, на улице уже лежал только толстый слой глины и на домах, на уровне первых этажей, висела желтая пена и древесная труха.

Грязные, измученные, вошли в здание вокзала. За билетами очереди не было, но поезд отходил лишь на следующий день. И тут я вспомнил, что в палаточном городке говорили о турбазе в Феодосии.

Турбаза представляла собой нечто среднее между пионерским лагерем и Парком культуры и отдыха. Директору турбазы приятельница описала наше бедственное положение.

– ...Понимаете, началась гроза, мы попали под камнепад, чуть не убило. Потом в наводнение, чуть не утонули...

Директор был явно выдающийся человек, то есть смотрел на мир широко и все схватывал на лету.

– Главное, создать впечатление, и сразу все ясно, как в солнечный день, – сказал он. – Вам нужен кратковременный отдых, чтобы снять стресс, а путевки нет. Поможем, при условии – в нашем Отечестве без условий нельзя. Так вот, при условии, что сдадите паспорта. Завтра придет кассир, оформит.

Как все выдающиеся люди, директор, кроме широты взглядов, обладал широкими жестами. Он размашисто прошелся по турбазе и выделил нам огромную шестиместную палатку с настилом и столом, на котором стояло зеркало, утюг и графин. Приятельница сразу повеселела и лихорадочно принялась наводить марафет.

Остаток дня мы провели в кафе напротив турбазы. Туда, в кафе, пришло страшное известие о том, что с перевала сползли грузовик и рейсовый автобус из Нового Света, на который мы не достали билеты. Будто бы автобус перевернулся и загорелся, и только одна женщина успела выбросить ребенка в окно. Но потом появилась новая версия – автобус на самом только сполз в низину и никто не пострадал.

Утром мы пришли в кабинет директора за паспортами, но ни его, ни кассира не было.

– Еще не пришли, – сказала уборщица. – Проходите, не стесняйтесь. Садитесь в кресла, ждите.

Я сел за стол директора, начал чертить на бумаге загогулины, приятельница пристроилась на подоконнике около аккордеона. Внезапно в помещение ворвалась разъяренная толпа туристов.

– Сидите, бездельничаете, а в путевках написано: «походы, танцы, игры!». Где все это! Мы напишем куда следует!

Я смекнул, что нас приняли за работников турбазы и, черт меня дернул подыграть.

– Тише товарищи! Вот товарищ Сидорова, наш массовик-затейник, – я показал на приятельницу, – она вам сейчас сыграет на аккордеоне, – я чуть не добавил: «За пять рублей», но вовремя спохватился – нас запросто могли отлупить.

– Сделайте одолжение! – прищурившись, ледяным голосом произнес мужчина в плетеной шляпе. – Привыкли здесь ничего не делать, неизвестно за что деньги получать!

– Вас бы к нам, в Москву! – зло сказала женщина в сарафане.

– Куда им! Там ведь работать надо! – стиснув зубы, проговорила девица, стоявшая впереди всех. Она была особенно агрессивно настроена, прямо сжимала кулаки.

От расправы нас спасло появление директора; он сразу все схватил на лету и подмигнул нам:

– Вы создали отличное впечатление.

Но и когда мы получили паспорта и направились к выходу, туристы все не верили, что мы такие же, как они, даже несчастнее, поскольку не имели постоянного приюта; вслед нам

неслись проклятия – только что камни не летели. Но приятельница неожиданно оценила мою смешную выходку.

– Ты классно шутишь, – сказала. – Я люблю острые ощущения.

Мы отбыли из Феодосии днем и до вечера пересекли весь степной Крым, и въехали в среднюю полосу; за окном на смену зеленым деревьям появились желтые. Всего за несколько часов мы очутились в новой среде.

– Умора! Недавно купались, жарились на пляже и уже все далеко, – с грустью сказала приятельница, и вдруг ни с того ни с сего чмокнула меня в щеку.

Я до конца не понял ее порыв. Наверно, она давала понять, что война между нами окончена и ей не нужна моя капитуляция, она готова заключить договор о мире и дружбе, но, конечно, без всякой любви.

Прослушивая пластинки

Тягуче-ленивая болтовня, осторожные взвешенные подходы, всякие созерцания, мыльная музыка и связанные с ней кисейные ощущения – все это было не для него. Стихийный человек, переполненный делами и планами, он направо-налево разбрасывал категоричные суждения и любил джаз – зажигательный джаз как нельзя лучше соответствовал его характеру. Никто из однокурсников толком не знал, он действительно музыкант и играет на трубе, или это только ему снится, но о джазе он говорил постоянно и с утра до вечера насвистывал разные композиции, при этом раскачивал головой и отщелкивал пальцами ритмический рисунок. Частенько забывался – гундосил и на лекциях, а войдя в раж, так стучал каблуками, что на него смотрели как на полоумного. И что доподлинно было известно – соседей по дому он изводил своими пластинками.

Среди студентов МИФИ Борис отличался независимостью: никому не позволял не только определять его жизнь, но даже давать советы и никогда не следовал не только за толпой, но и за небольшой группой людей, если, разумеется, они не были джазменами.

– Всякая зависимость унижительна, – говорил он. – И всякие сборища – мрачноватая традиция. От неполноценности. Для тех, кто не может самостоятельно шевелить мозгами. А я сам по себе. Я расширил границы свободы и пробуюсь в одиночку. Вот только бы ветер удачи подгонял в спину!

Он был полон энергии – от него прямо било жаром – с приятелями разговаривал запальчиво, по-мальчишески задорно. Особенно горячился, когда улавливал ветер удачи – тогда то и дело нервно поправлял очки, смахивал капли пота с переносицы.

– Кое-что получилось, но это так, разминка, малый удельный вес. Я ведь многоборец, и у меня многоцелевой план. Так что впереди большая работа. Вот только бы не упустить ветер удачи, да не подкачала бы спортивная форма, да слышался бы джаз!

Кипучий, неугомонный непоседа, Борис силился постичь все: забегал в библиотеку института, набирал кипу книг, перелистывал одну за другой и несся в спортзал – вначале в секцию регби, затем – баскетбола; из спортзала мчался на курсы иностранного языка, с курсов – в бассейн, и в голове все время – джаз, джаз...

По утрам «для закалки» он качал гантели (хотя и так был здоровяк, каких поискать), раза два в неделю ожесточенно бегал по гаревой дорожке стадиона – чтобы поддержать спортивную форму и «получить максимум адреналина»; через день, как на праздник, спешил на репетицию любительского джаз-ансамбля – и не во сне, а на самом деле – и, конечно, ни дня не мог прожить без среды единомышленников – каждый вечер на час-другой заглядывал в кафе, где играли джаз; часто являлся с трубой, забирался на сцену – благо джазмены компанейский народ – и исполнял пару-тройку вещей.

Дома Борис имел четыре стола: на одном писал курсовые, на другом собирал радиоприемники, на третьем занимался фотографией, на четвертом «для самосовершенствования» пробовал силы в живописи и постоянно что-нибудь мастерил – он был жаден до всякой работы и просто не мог сидеть без дела. И без музыки – для настроения прослушивал пластинки, джазовую классику, и время от времени хватался за трубу и проигрывал отдельные темы, несмотря на протесты родственников и соседей. Он как-то болезненно чувствовал быстротечность времени и потому хотел приложить руки ко всему, что охватывал его взгляд. Понятие «усталость» (тем более «скука») для него, двужильного, не существовало.

– Я отдыхаю, когда играю джаз, – говорил он. – А вообще-то мне некогда отдыхать, у меня масса проблем. Кто много работает, у того их всегда полно.

– Могушественный парень, фонтанирует, как гейзер, – усмехались приятели.

Среди сокурсников Борис слыл парнем с немалым творческим потенциалом, который слишком часто меняет увлечения – никак не может разобраться в своих многочисленных способностях. Как только стихал ветер удачи – начатое дело заходило в тупик, Борис сразу его откладывал и принимался за что-нибудь другое.

Следует признать, в некоторых областях он достигал некоторого мастерства (например, в джазе), но продвигаться дальше ему мешало не столько отсутствие ветра удачи, сколько отсутствие терпения и усидчивости.

К тому же давно подмечено, что ветер удачи сопровождает настойчивых, упорных гораздо чаще, чем всяких других. И яснее ясного: главное в деле – довести его до конца, а профессионализм вообще требует полной отдачи. И следует добавить, что во сне Борис прекрасно видел конечный результат своей неумной деятельности – во всех областях добивался нешуточного успеха, а как музыкант и вовсе купался в славе. И, конечно, в сновидениях ветер удачи был особенно сильным – Борис жил в просторной квартире, имел машину, и была у него любимая девушка, самая красивая из всех ходивших по земле.

А наяву сокурсницы сторонились Бориса – считали его взбалмошным парнем, ненадежным, легковесным поклонником, который увивается вокруг многих студенток, но никак не выберет одну-единственную и, похоже, вообще не способен влюбиться; наяву он не имел не только машины, но и велосипеда и обитал в подвале с престарелыми родителями и младшей сестрой (через подвал проходили трубы, с которых капало и сыпалась побелка; между кроватей на веревках висело сохнувшее белье).

Правда, Борису принадлежала знаменитая на всю улицу мастерская – старый заброшенный сарай, в котором находился верстак с набором слесарного инструмента. В течение двух лет Борис таскал в сарай арматуру, доски, всевозможные заводские отходы и все это собирал неспроста – планировал строительство катамарана по собственному проекту. В какой-то момент даже начал его строить – ухлопал несколько месяцев на каркас необычной посуды и во сне уже бороздил подмосковные акватории, но наяву внезапно увлекся охотой: купил подержанное ружье, завел собаку сеттера и стал ездить в Мытищи натаскивать собаку и стрелять по тарелкам.

– Катамаран дострою позднее, – заявил приятелям, чтобы обезопасить себя от упреков в легкомыслии, и добавил с внезапным порывом: – Сейчас открываются неограниченные возможности для охоты. У меня появился один знакомый, лесник с Северной Двины, зовет на лето к себе. Там кабаны, медведи...

Но и на Двину не поехал – на то появились особые причины: подвернулась работа в опытно-конструкторском центре НИИ, а Борис никогда не упускал случая подзаработать, поскольку его семья жила в постоянной нужде.

За время работы в НИИ Борис охладел и к охоте. Раза два съездил в Подмосковье, но вернулся с пустыми руками. «Зрение подводит», – объяснил приятелям, давая понять, что отказывается от охоты помимо своей воли. После чего продал собаку и ружье и... ударился в другую крайность – вступил в общество защиты животных.

Некоторые считали Бориса «энергатором бесплодных идей», фантастическим суетником, в котором нет стержня, называли его увлечения вздорными бесполезными занятиями, а изучение языков – и вовсе «мертвым багажом», поскольку в стране запрещено общаться с иностранцами. «Лучше бы плотней занялся специальностью», – говорили такие благообразники, но они же отмечали напористость, активность Бориса, его перегруженное время, огромные энергетические затраты и удивлялись, как такое напряжение выдерживает его организм.

Между тем, несмотря ни на что, Бориса можно было назвать счастливым, ведь он жил так, как хотел жить, в то время как многие его знакомые жили, как должны были жить, и ради практических интересов подстраивались под обстоятельства, прикидывали выигрышные варианты.

На третьем курсе Борис сделал важный шаг – женился.

Со своей благоверной он познакомился на стадионе во время студенческих соревнований, где Борис показал в беге неплохой (для любителя) результат, и она с трибуны была свидетельницей его триумфа; после забега подошла и с восторгом поздравила...

Он пригласил ее в джазовое кафе; на свидание, естественно, прихватил трубу, и когда сыграл несколько мелодий, она пришла в еще больший восторг, чем на трибуне во время соревнований, даже чмокнула его в щеку и шутливо бросила:

– Вы самый замечательный человек на свете.

– Я тоже так думаю, – буркнул Борис. – Но все это ветер удачи... А вообще многие считают меня чудачком...

– Все мы немного чудачки, – хмыкнула девушка. – Зато у вас прекрасная душа. Так играть может только человек с замечательной душой.

Девушку звали Тамарой, она училась в медицинском институте и одновременно заканчивала курсы французского языка; она была хороша собой, держалась свободно и умела нравиться, но что особенно привлекло Бориса – любила и знала джаз. Своей открытостью, горячей энергией и многочисленными планами Борис сразу вскружил ей голову.

– Я готова бросить все: учебу, поклонников – и пойти к вам домработницей, – уже не совсем шутливо сказала она на второй день знакомства, а на третий, после незначительной размолвки, уже без всяких шуток, сбросив туфли, бежала за ним босиком по тротуару.

Год молодожены прожили у родителей Тамары, а после рождения сына, как остро нуждающиеся, получили освободившуюся малогабаритную квартиру. Чтобы сэкономить деньги, Борис решил отремонтировать квартиру самостоятельно и взялся за дело с особым рвением. Насвистывая джаз, прослушивая пластинки, наклеил новые обои; затем снял линолеум и у рабочих с соседней стройки за бутылки «коленчатого вала» (дешевой водки) приобрел паркет, но, когда начал его стелить, все пошло наперекосяк: в середине комнаты «елка» выглядела более-менее прилично, но к стенам чрезмерно разъезжалась.

– Ничего! – успокоил он погрузневшую жену. – Там поставим мебель. Кстати, шкафы и полки сделаю сам.

Кухню Борис решил отделать кафелем. Целые сутки без передышки приклеивал плитки, а закончив работу, решил отмыться и, пока ванна наполнялась водой, прилег на тахту отдохнуть. Проснулся от стука в дверь – в квартире плескались волны; вода просочилась на четыре нижних этажа. Домовый комитет постановил сделать ремонт за счет «безрассудного студента», как окрестили Бориса после его бурной паркетной эпопеи, когда он несколько дней грохотал на весь подъезд.

На ремонт затопленных квартир Тамаре пришлось брать деньги у родителей.

Для шкафов и полок Борис закупил древесные отбросы и пленку «под клен». Первый шкаф (платяной) получился таким аляповатым, что Тамара назвала его «гробом с музыкой» и наотрез отказалась держать в комнате. К тому времени она уже относилась к мужу без прежнего пылкого восторга, а часто и высказывала недовольство его «безалаберной» деятельностью.

Так и остался тот шкаф в мастерской Бориса как символ дилетантства. Его второе столлярное изделие более-менее смотрелось, но опять-таки выглядело далеким от совершенства.

– Это поставь на балкон. Туда буду складывать грязное белье, – сказала Тамара с горечью и на следующий день привезла от матери комод.

На полки у Бориса не хватило времени – он уже начал собирать телевизор, но и его не доделал – принялся застеклять балкон, чтобы устроить оранжерею.

Через год после вселения квартиры все еще оставалась необустроенной, захламленной: в углах лежали обрезки досок, клей, краска, провода (мастерская была забита грудой строительного материала для дачи, которую Борис нацелился возводить и уже видел во сне; там же, в

мастерской находились скелет катамарана и «гроб с музыкой» – мастерская напоминала кладбище невостребованных вещей).

Тамара только вздыхала, а в адрес мужа бросала едкие колкости и упреки.

– Живем, как цыгане... И этот недоделанный телевизор! Ящик с внутренностями наружу! А если ребенок подойдет и его шибанет током?! Я думала, ты неповторимый человек, а ты – большой мальчишка, верхогляд, у тебя нет самодисциплины и характер разрушительный. И это не ругательство, а определение, диагноз, твоя суть.

Окончив институт, Борис поступил в аспирантуру, а чтобы приносить деньги в семью, устроился ночным сторожем на стройку кооперативного гаража. С утра убежал в институт, к четырем часам спешил в библиотеку – корпел над диссертацией, в шесть вечера неся в спортзал – покидать мяч в корзину, затем – на курсы иностранных языков; домой приходил поздно, на ходу проглатывал ужин, под тихий джаз (чтобы не разбудить сына) мастерил очередную штуковину, к полуночи отправлялся дежурить на стройку и, перед тем как задремать в каморке, играл на трубе – готовился к концерту...

Он постоянно не высыпался, ходил с мешками под глазами и часто в метро, по пути в институт, засыпал без всяких сновидений. А от жены уже слышал не упреки – сплошные серьезные обвинения:

– ...Мы поспешили расписаться. Нужно было, для профилактики, поближе узнать друг друга. Только теперь мне стало ясно: ты просто еще не созрел для семьи. Никак не утихомиришься, никак не откажешься от своих холостяцких замашек! Какой сейчас может быть баскетбол, когда мы в таком положении?! У нас нет ни приличной мебели, ни сносной одежды – и куча долгов!

Борис пытался найти достойный ответ:

– Спорт мне необходим, Томуся. Я должен поддерживать форму, иначе не хватит сил на большие дела.

– Какие дела?! – следовал резкий выпад Тамары. – Что тебе еще приспичило?! У тебя главные дела: диссертация и ребенок. А этому-то ты как раз меньше всего уделяешь времени, это у тебя на втором, даже на пятом плане. Скоро год, как ты взял тему, исписал кучу бумажек, и все без толку. Если б знала, что так будет, ни за что не брала бы академку и сама уже давно защитилась бы... Конечно, ты живешь насыщенно: гоняешь мяч с друзьями, «спикаешь» на курсах с девицами, а я только и знаю магазин и кухню, стирку и готовку. Ты махровый эгоист, себялюбец, не умеешь видеть душу других. Это какая-то клиника.

– Все наладится, Томуся, – успокаивал Борис разгоряченную супругу. – Закончу диссертацию, получу приличный оклад, сына отдадим в детсад, и ты займешься дипломом. Вот только бы ветер удачи...

– Замолчи! У тебя уже есть один ветер! В голове!

Прошло еще два года, и ничего не изменилось – вернее, Борис не изменился.

Тамара, устроив сына в детский сад, вернулась в институт и вскоре получила диплом врача и распределение в поликлинику, а Борис, общаясь в гараже с владельцами машин, загорелся автоделом, и решил копить деньги на «москвич», и начал с того, что вступил в кооператив гаражников, – ему, как бдительному охраннику, пошли навстречу (поверили, что вот-вот займет автотранспорт) и выделили бокс.

– Большой глупости придумать трудно, – зло проговорила Тамара. – Нет коровы, но покупать подоинок. Что за дурацкая прихоть?! Ты весь в этом. Вот теперь еще с этим гаражом влез в кабалу. Какая-то болезнь в острой форме!

Грандиозные планы и всевозможные увлечения в конце концов поставили Бориса перед дилеммой: или умерить свой пыл и ограничить круг занятий, или прослыть «вечным дилетантом»; ни то ни другое его не устраивало – он был слишком нетерпелив, чтобы размеренно и четко идти к определенной цели и хотел сразу иметь все, и во всем хотел добиться успеха. И

отступать ему было нельзя – от приятелей и жены уже слышались издевательские насмешки. «Куплю машину и сразу восстановлю свой престиж», – твердо решил Борис и стал лихорадочно обдумывать, каким образом достать деньги. Неожиданно подвернулся случай: прораб гаражной стройки однажды обронил:

– По штату есть ставка дневного сторожа, но никто не идет. Оклад-то мизерный. Давай, Боб, оформим «мертвую душу», будешь днем ненадолго появляться, так, для отвода глаз, а оклад пополам.

Борис согласился без колебаний, не задумываясь, что встает на скользкий путь. Втайне от жены отложил диссертацию и стал приезжать на стройку несколько раз в день.

Через некоторое время прораб предложил Борису продать налево рубероид. Борис и от этой сделки не отказался – подстегивало безденежье, и он из всего старался извлечь выгоду. Его прежнее невинное собирательство разных стройматериалов и заводских отходов и расплывчатые ночные видения катамарана и дачи уступили место страсти к гайкам и шестеренкам и снам о конкретной автомашине. Он тащил в свой бокс все железки, какие находил и мог унести (мастерская уже была забита до отказа).

Когда гаражная стройка закончилась, во всех боксах красовались автомашины, только у Бориса лежали груды запчастей. По уставу боксы принадлежали только владельцам автотранспорта, а поскольку такового у Бориса не появилось, его исключили из кооператива, предварительно вернув выплаченную ссуду.

Приплюсовав к ссуде накопленные деньги, Борис купил старый покореженный «москвич» и на тросе за тягачом въехал во двор. Машина не заводилась и вообще требовала серьезного ремонта, но Борис был счастлив – наконец он не просто показал истинное лицо многоборца, но и дал вразумительный наглядный отпор насмешникам.

Теперь по вечерам он захлеб говорил жене о предстоящих выездах на природу, а по утрам пересказывал сны о летних автопутешествиях. Но Тамара раздраженно фыркала:

– Вся твоя жизнь как дурацкий сон. Просто-напросто выбросил деньги на ветер. На свой ветер удачи. Клинический идиотизм!

Пока Борис посещал автошколу и получал водительские права, его колымага еще больше пришла в негодность: на кузове появилась ржавчина, покрышки потрескались, одно стекло стащило, другое мальчишки разбили мячом.

Борис еще пыжился, говорил, что сделает новый «современный, обтекаемый кузов», что «уже достал матрицу и эпоксидную смолу», но так ничего и не сделал. Его машина, точнее остов от машины, еще несколько лет маячила во дворе как памятник горе-автомобилисту.

К этому времени от Бориса отвернулись все приятели, включая джазменов, ведь он и с ними встречался «по пути». Прибежит на репетицию, бросит: «Как дела?» Минут пятнадцать поиграет – и сразу: «Извините, спешу, дел невпроворот».

А Тамара уже открыто его презирала и по любому пустяку срывалась на повышенный тон:

– ... Жалок мужчина, который в тридцать лет ничего не добился. И что это за муж, который не бывает дома?! Днем носится по каким-то дурацким делам, устраивает себе поигрульки, ночью торчит на стройках, дудит в дудку. Домой заглянет, помурлыкает под пластинку – и только его и видели... И секс у нас какой-то странный – раз в два-три месяца. Я как соломенная вдова, живу любовными впечатлениями от первых месяцев замужества. Да и были ли они? Иногда мне кажется – я все выдумала, и даже непонятно, как появился сын. Надоело все до чертиков!

Все чаще Тамара поговаривала о разводе. В такие минуты Борис клялся, что закончит диссертацию и начнет «жить мудро». В самом деле, несколько дней пытался быть добропорядочным семьянином: вновь отделявал квартиру, переписывал давний «научный труд», ходил с сыном в зоопарк, помогал жене по хозяйству, попутно, чтобы ее задобрить и выразить «вечную

любовь», рисовал ее портрет, посвящал ей стихи... А через неделю являлся домой поздно... с новыми головокружительными планами.

С годами Борис дошел до абсурда: утром делает гимнастику, немного порисует, попишет, заглянет на пару строек, где числился сторожем, приедет на основную работу (в лабораторию института), через каждые полчаса устраивает перерыв – то забежит в библиотеку, то в спортзал...

А после работы отдаст дань накатанному маршруту: стадион, курсы, бассейн (нигде особо не задерживаясь), посетит джазовое кафе, шахматный клуб (новое увлечение) и партию зеленых (из патриотических чувств), ненадолго появится в семье, чмокнет жену в щеку, погладит по голове сына, проглотит ужин, покопается в радиосхемах, поиграет на трубе, одолжит велосипед у соседа – сгоняет к своим старикам, заодно в мастерской что-нибудь попилит, поколотит; вернет велосипед соседу, снова, для приличия, заглянет в семью, снова обойдет стройки – и все в сногшибательном темпе, под несмолкающий джаз.

Однажды он пришел домой, но жены не застал. На столе лежала записка: «Я подала на развод. Выносить тебя больше нет сил. Ищи себе комнату. Мы с сыном пока проживем у моих родных. Не приезжай и не звони. При одном упоминании о тебе меня бросает в дрожь».

Чтобы глубже осмыслить произошедшее, Борис сходил в магазин за водкой (для него неожиданный поступок), а вернувшись, поставил печальную пластинку и долго рассматривал свою жизнь со всех сторон.

Он прекрасно знал: чтобы вернуть жену, необходимо резко измениться, и впервые серьезно решил расстаться с ореолом многоборца: запаковал прежнюю жизнь и все ошеломляющие планы в ящик и сбросил в пропасть. Но сделал это уже во сне.

Мост над обрывом

Вот колдовство воспоминаний – почему-то из, в общем-то безрадостного, послевоенного детства чаще всего вспоминается светлое. Конечно, нельзя из прошлого выбирать только хорошее, но попробуй не выбирать!

Тот мост был деревянный, с белесыми от времени, пружинящими досками и прогнившими, замшелыми перилами. По нему пролегла дорога из нашего поселка в город. С нашей, поселковой стороны настил моста лежал на склоне, поросшем кустами шиповника и медуницей, со стороны города мост упирался в красноглинистый обрыв. Внизу, вдоль обрыва, бежал еле заметный ручей, вспухавший только после продолжительных дождей; зато весной, когда солнце буравило заснеженный склон, ручей превращался в полноводный мутный поток, а под мостом, в узкости с наибольшей разницей высоты, бушевал настоящий водопад – гордость поселковых мальчишек. Обрыв был обращен к югу и находился под постоянным обстрелом солнечных лучей, а на дне оврага всегда стояла сырость; очевидно горячий и холодный воздух редко перемешивался, и на границе двух слоев возникал какой-то парниковый эффект, иначе трудно объяснить, почему шиповник распускался и плодоносил необычно рано, а медуница цвела по два-три раза в год.

Когда-то в овраге под мостом обитало множество куропаток. Птицы отличались добродушным нравом и доверчивостью – случалось, даже заходили во двор и клевали зерно вместе с курами, но постепенно их всех перебили – когда мы переехали в поселок, овраг населяли одни вороны.

Тот мост был для нас, мальчишек, постоянным местом встреч – идем ли в школу, направляемся ли в лес или на озеро – встречаемся у моста; и вечера проводили около него, вдали от родительских глаз.

Все мальчишки считали мост главной достопримечательностью поселка, излюбленным местом для игр, и только в меня он вселял страх – и потому, что выглядел слишком ветхим, и потому, что я от рождения боялся высоты. В то время я ни за что не отважился бы лететь на самолете, не катался в городском парке на чертовом колесе, а оказавшись в многоэтажном доме, держался подальше от окна. Я придумал определенное оправдание своей трусости – вывел что-то вроде научного положения о противоестественности всякой оторванности от земли. Кажется, я сделал это впервые в мире, но почему-то никто не оценил моего открытия.

Особый страх в меня вселяли мосты. Я никогда не видел, чтобы они рушились, но постоянно ожидал этих катастроф. И тот мост над обрывом не был исключением. Помню, мы жили в поселке уже месяц, а я все не осмеливался его пройти – мне казалось, как только дойду до середины, он непременно затрещит, зашатается, и вместе с обломками я полечу вниз. Каждый раз, когда на мост въезжала машина или вступала лошадь с телегой, я ждал, что он вот-вот развалится. Когда мы ходили в лес за грибами, все ребята спокойно проходили настил, но я выдумывал смехотворные предлоги и лез через овраг. В конце концов эти увертки разоблачили и ребята стали откровенно смеяться надо мной; я остро переживал насмешки, но ничего не мог с собой поделать.

Однажды в поселок приехали отдыхающие из города, и вечером у моста появился новый мальчишка, долговязый, остроносый, с копной светлых волос. Его звали Колькой. Общительный Колька быстро вписался в нашу компанию, больше того, благодаря своей великолепной фантазии сразу выделился в лидеры. До него все наше времяпрепровождение сводилось к набегам на чужие сады, стрельбе из рогаток, писанию угрожающих записок пугливым старушкам и прочим бездарным проделкам (наших талантов только на это и хватало). Колька придумал массу интересных занятий: предложил перегородить ручей и в образовавшемся водоеме кататься на плоту, научил нас делать планеры и пускать их с обрыва – чей улетит дальше.

С появлением Кольки наша жизнь приобрела новый смысл; я даже подумал, что на свете и не может быть ничего более увлекательного, чем подобные занятия. Но вскоре Колька доказал – есть вещи намного важней.

Как-то я пошел в лес срезать прут для лука; преодолев овраг, прошел поле гречихи и очутился на опушке леса, где росли кусты орешника. Срезав самую гибкую ветку, я направился к поселку, по пути то и дело выгибая прут, представляя будущее оружие. Неожиданно около моста я увидел Кольку – он стоял перед этюдником на треноге и что-то рисовал, и был настолько увлечен, что не заметил, как я очутился за его спиной, а когда заметил, не удивился и сразу ввел меня в художественную атмосферу.

– Так, пространство обставили, накидали где что. Теперь схватим общую цветовую гамму, – пробормотал, давая понять, что воспринимает меня как соучастника творчества.

На картоне скудными изобразительными средствами, всего одной коричневой краской был нарисован обрыв, мост, наш поселок... Но тут же, размешав на палитре краски, Колька начал класть широкие яркие мазки, и на моих глазах рисунок расцвел, расплывчатые контуры приобрели законченные формы. Это было настоящее волшебство.

Кольку все больше охватывал азарт: словно фехтовальщик, он то делал выпад к этюднику и наносил кистью очередной мазок, то отскакивал и, наклонив голову, сосредоточенно рассматривал свое произведение, и все время морщился.

– Не то, не то, – бормотал и мучительно искал новые цветовые решения.

Наверное, все это длилось около часа, не меньше, но мне показалось – прошло всего несколько минут. Наконец Колька вздохнул, отложил кисть и устало произнес:

– Ну вот теперь вроде получилось, как думаешь?

Он хотел услышать отзыв о своей работе, но я не смог выразить восхищение – только кивнул и еле слышно выдавил:

– Похоже!

Через некоторое время я очухался, разговорился и как-то само собой у меня вырвались слова о том, что все же он, Колька, мог бы красить и поаккуратней. Окончательно придя в себя, я обнаглел и сделал Кольке критическое замечание по поводу его слишком разноцветных домов и невероятно огромных деревьев.

– Этого ведь нет, разве ты не видишь? – возмутился я.

– Так не бывает!

– Не бывает, – согласился Колька, убирая этюд. – Но ведь так красивей. Художник ведь не фотограф, он рисует так, как хочет чтобы было.

Он вскинул этюдник на плечо, и мы пошли к поселку.

– Представляешь, как было бы красиво, если бы дома в вашем поселке раскрасить в разные яркие цвета... И сараи, и заборы... Вот было бы весело!..

Тот огненно-памятный день стал значительным событием: предельно ясно Колька объяснил мне основы живописи и так сумел увлечь меня, что за разговором я и не заметил, как мы прошли мост.

Искусство оказалось сильнее врожденного страха, оно навсегда сломало барьер трусости перед реальными мостами и, главное, излечило меня от нерешительности. Мосты стали для меня некими символами – переходами в новую жизнь. Повзрослев, я с невероятной легкостью переезжал на новое местожительство, устраивался на новую работу, заводил всевозможные знакомства и менял увлечения – как бы безбоязненно проходил невидимые мосты.

Иногда мне кажется, что вообще вся моя жизнь по сути дела – длинный мост: временами – величественный пролет без опор над цветущей равниной, то вдруг – зыбкая шаткая стлань над топью неведомой глубины – все зависит от житейских радостей и болей в то или иное время. Но что немаловажно – в юности этот мост казался бесконечным, уходящим в высь, в зрелости я заметил – мост выпрямился, местами даже снижается, а по сторонам нет-нет да

мелькнет знак, извещающий о том, что каждая дорога когда-нибудь кончается; теперь, под старость, я четко вижу – мост стремительно уходит вниз и где-то там, в тумане низины, еще не видится – только угадывается – последний пролет и зияющая за ним пустота.

Ну, а начинается мой жизненный мост с того – над обрывом. Именно на том мосту я сделал немало значительных открытий (кроме положения о заземленности). Например, познакомился с мальчишкой, который не говорил ни одного слова правды, причем врал со все возрастающей мощью и, помнится, даже его родители с трудом представляли, что в конце концов получится из этого маленького чудовища.

Он был плотным подростком с прыщавым лицом, на котором постоянно играла хитрая ухмылка – она исчезала только когда он начинал говорить – в эти минуты его лицо выражало полнейшую серьезность – на нее все и покупались. Его звали Эдик. Он жил недалеко от поселка в заводских домах со множеством лестниц на «черные ходы». В день нашего знакомства я начал было рассказывать, как мы возвели плотину и сколотили плот, но Эдик перебил меня:

– Мы с отцом построили лодку и плавали по Волге.

Я попытался рассказать про Кольку, но он сразу нагло махнул рукой:

– Я в прошлом году закончил художественную школу.

Мои работы сейчас в Москве на выставке.

Заметив мою растерянность он победоносно хмыкнул и ошаршил меня еще больше: сообщил, что учится на одни пятерки, является первоклассным спортсменом и обладателем кое-каких морских сокровищ. Под конец, чтобы окончательно доконать меня, он обещал завтра продемонстрировать свое богатство и подарить одну из морских раковин. Я его не просил, он сам предложил. По нашим понятиям это выглядело невероятной щедростью, почти наградой, и я почувствовал – здесь что-то не то, но у меня еще не было оснований ему не верить.

На следующий день, совершенно забыв о своем обещании, Эдик выдал мне очередную порцию похвальбы, заявив, будто знаком со всеми знаменитостями города, после чего его ухмылка уже перемежалась едким смешком. В какой-то момент я осадил его и напомнил про раковину. Он, не моргнув, пообещал подарить ее через два дня.

Но два дня растянулись на неделю, потом на месяц, и все это время, выслушивая ложные обещания, я поддакивал ему, как бы позволяя себя дурачить; на самом деле с любопытством ждал, куда его заведет вранье.

Вскоре я заметил, что он врет не мне одному. Стоило кому-нибудь из ребят заикнуться про книгу, которой нет в школьной библиотеке, как он тут же, с полнейшей невозмутимостью, объявлял:

– Чепуха! У меня их несколько штук. Завтра дам.

И не давал.

Бывало, сидим на «черном ходу», а он заливает что-нибудь вроде того, что знаком с полярными летчиками. Если кто-нибудь из ребят подозрительно разглядывал его или, чего доброго, хихикал, он распалялся и загибал еще похлестче. Казалось, он просто-напросто издевается над нами, принимая за дураков. Это было какое-то патологическое вранье с определенным садистским уклоном, какое-то идиотское самоутверждение. Надо отдать ему должное – он никогда не повторялся, то есть был неистощим на выдумки.

После того, как Эдик обманул меня с раковиной (которую, ясно, так и не подарил), я перестал воспринимать его всерьез и много раз собирался высказать ему все, что о нем думаю, но так на это и не решился – в то время мать постоянно внушала мне, что «худой мир лучше доброй ссоры», и этим сомнительным правилом я руководствовался довольно долго.

Вскоре семья Эдика переехала в новый район, и больше мы не виделись.

Мы встретились через много лет, когда я был в том городе проездом; встретились случайно, около гостиницы, в которой я остановился. На нас обоих годы наложили след – мы с трудом узнали друг друга. Он отяжелел, стал внушительных габаритов, едкая ухмылка усту-

пила место вполне доброжелательной улыбке, в движениях появилась неторопливость, уверенность. Он неподдельно обрадовался нашей встрече, предложил зайти в кафе «отметить событие» и, когда мы сели за стол, рассказал о себе.

Он работал инженером, был женат, имел сына; причем, как объяснил, женщины от него всегда шарахались, только одна считала талантливым – на ней он и женился.

После первого стакана вина он вдруг засмеялся.

– Знаешь, что сейчас вспомнил? Каким я был в детстве вралем. И как вы меня терпели?

Я ответил расплывчато, в том смысле, что в детстве все мы были хороши – не в одном, так в другом.

После второго стакана он расхохотался.

– А все же, скажу тебе, мое детское воображение пошло на пользу. Я иногда пишу рассказы. Фантастические. Пару даже напечатали в одном журнале, – он подмигнул мне, и я не понял – говорил ли он правду или шутил, или от вина его занесло и он попросту врал, точно так же, как мальчишкой когда-то.

После третьего стакана он внезапно стал серьезным.

– Недавно закончил роман. Хочу послать в центральное издательство.

Это сообщение меня насторожило; я подумал: «Неужели его детская патология пустила корни? Неужели он так и не вышел из образа, только его фантазия стала посolidней?». Но я ошибся.

Из кафе он повел меня к себе и по пути пересказал содержание романа, а дома подарил журнал с рассказом и сделал надпись: «Другу детства от бывшего трепача, с самыми добрыми пожеланиями».

На том мосту детства у меня произошла еще одна встреча – с девчонкой Алей. Когда я вспоминаю ту встречу, наш деревянный, расшатанный мост кажется мне легким, еле различимым, романтическим мостиком, меня охватывает элегический настрой, и все что было в детстве, представляется намного прекраснее того, что произошло в зрелом возрасте.

Аля жила в тех же домах, что и Эдик, и была некрасивой, нелюдимо тихоней; она ежедневно подходила к мосту, но никогда не принимала участия в наших играх; больше того – всячески выражала полное безразличие ко всему нашему клану – обычно стояла на противоположной стороне и, облокотившись на перила, смотрела вниз. Каждый раз когда мы звали ее к себе, она с брезгливой неприязнью качала головой и сбегала по склону оврага к ручью; разгоняя оводов, переходила вброд мелкие рукава ручья и исчезала в кустах шиповника. Всем своим видом эта дурнушка давала понять, что в жизни есть гораздо более стоящие занятия, чем какие-то глупые мальчишеские игры.

Как-то вечером я ждал отца у завода и вдруг увидел Алю – она сидела на дереве и смотрела на крышу своего дома.

– Что ты там высматриваешь? – спросил я.

– Лунатиков, – просто ответила Аля.

Я усмехнулся.

– Не веришь?! Залезай, сам увидишь. Только сейчас еще рано, лучше попозже, когда стемнеет.

Встретив отца, я прошелся с ним до дома и помчал назад.

Аля все еще восседала на дереве; когда я забрался к ней, она не отрываясь от крыши, объяснила, что лунатики взлетают на дома с помощью зонтов или залезают по водосточным трубам, что некоторые из лунатиков проникают на чердаки и в комнаты и что однажды она видела, как утром рабочие снимали одного лунатика, зацепившегося за трубу.

– Я тоже хочу быть лунатиком, – высказала Аля не совсем ясную мысль; усиливая торжественность момента, она сделала страшные глаза и приложила палец к губам.

С нарастающим страхом я уставился на обшарпанную крышу, но разглядел только чердачное окно с поломанной решеткой.

На том чердаке складывали разный хлам: старую мебель, драную одежду, битую посуду. Однажды на чердаке поселился брат Али. Ему было семнадцать лет, он работал на заводе и во всем старался показать самостоятельность; в один прекрасный день объявил родителям, что «задыхается в тесных комнатах», и перебрался на чердак; там перекидал всю рухлядь из-под окна в угол, поставил железную кровать, стол, и с того дня, когда бы мы к нему ни поднимались, у него во рту тлела папироса.

Мы сильно завидовали «отшельнику», но как-то залезли на чердак в дождь и увидели – все жилище парня в водяных струях; сам он сидел, скрючившись, на кровати под зонтом, а вокруг стояли булькающие и звенящие ведра, банки, кастрюли, причем размер посуды строго соответствовал дыре над ней. После этого мы поняли, что парень отказался от нормальных условий не ради свежего воздуха, а просто захотел иметь собственный угол.

В тот вечер, когда мы с Алей сидели на дереве, небо было затянуто тучами, только в двух-трех местах в разрыве облаков, как из бездонных колодцев, сверкали звезды. Мы сидели долго, и у меня затекли ноги, я уже собрался слезать с дерева, как вдруг Аля вскрикнула. Я посмотрел в сторону ее взгляда, и внутри у меня заледенело – по крыше двигались два лунатика; переступали осторожно, расставив руки в стороны. Дойдя до трубы, лунатик, который был повыше, протянул руку маленькому лунатику и помог спуститься вниз, к решетке на краю крыши. Там они присели и стали смотреть на звезды.

Затаив дыхание, я боялся шевельнуться, но внезапно из-за облаков выглянула луна, осветила лунатиков, и мы узнали в них брата Али с девушкой.

После окончания школы я уехал в Москву, но каким-то замысловатым образом судьба распорядилась так, что мы с Алей встретились вновь. Это случилось в начале лета, мы ехали в одном троллейбусе и стояли рядом на задней площадке, и оба одновременно повернулись и, узнав друг друга, испытали искреннюю радость от неожиданной встречи. Аля рассказала, что в Москве уже два года, работает лаборанткой, снимает комнату, три раза в неделю ходит на вечернее отделение пединститута.

– Совсем нет времени на свидания, – горько усмехнулась. – Днем работаю, вечером учусь.

Она похорошела – из угловатого подростка превратилась в юную особу с безукоризненно стройной фигурой, и от ее детских фантазий не осталось и следа – передо мной стояла деловая, немного усталая девушка, которая мне явно нравилась (пока, правда, только в эстетическом смысле). Я решил ее взбодрить и изобразил опытного наставника.

– Не огорчайся, Аля! Зато представляешь, как ты будешь любить свою квартиру, когда она появится? Выйдешь замуж за богатого и любимого человека, у вас будет куча детей, роскошная машина, яхта и дача на Багамских островах. Еще меня возьмешь садовником.

– Этого ничего мне не надо, особенно богатого мужа.

Главное любимого, а вот квартиру, хоть малюсенькую, но свою, хотелось бы иметь. Ведь даже не могу никого к себе пригласить.

– Все у тебя будет отлично, – уверенно заявил я. – И не вешай нос. Я ведь тоже не богатый – и ничего. Зато мы с тобой живем в столице, и давай не будем унывать, и найдем время для свиданий. Вот давай в воскресенье поедem на «Ракете» на Пестовское водохранилище. Искупаемся, позагораем. Смотри, отличная погодка установилась.

– Хотелось бы, но я договорилась с подружкой делать курсовую... Ладно, уговорил. Позвоню ей, сделаем потом. А то еще ни разу не искупалась. Но с условием – без всяких приставаний, идет?

Дни стояли жаркие, но дело было в начале недели, и я все боялся, что до воскресения погода испортится, или Аля забудет, или передумает, но она точно пришла в назначенное время. Мы договорились встретиться у касс Речного вокзала. Я увидел ее издали – она быстро

шла в открытом легком платье, с большой сумкой через плечо – от ее усталости не осталось и следа.

– Привет! – махнула мне рукой.

Мы взяли билеты до Пестово и через час уже барахтались в воде, жарились на песке, пили шипучий лимонад, я любовался ее фигурой, и она уже мне нравилась не только в эстетическом смысле. Перед отъездом с пляжа, мы заключили договор – выбираться на природу каждое воскресенье. А уехали раньше намеченного времени; Аля сказала:

– Уезжать от хорошего надо чуть раньше, когда жалко уезжать, а не когда считаешь часы до отъезда.

На обратном пути заехали ко мне. Увидев мою захлавленную комнатенку, Аля поморщилась (точно сама жила в комнате, усыпанной цветами), тут же бросила сумку на тахту, скинула туфли и начала наводить порядок.

В следующее воскресенье она опоздала на двадцать минут и выглядела не такой веселой, зато внешне была неотразима – в новом брючном костюме, на голове – шляпа с широкими полями, на кончике носа – большие затемненные очки. Пока мчали по каналу, она тускло взирала на берега; со мной почти не разговаривала – произнесла всего пару фраз со скучающей миной; на пляже все время посматривала на часы, а как только мы вернулись в город, сразу заспешила домой.

На третью встречу она опоздала почти на час и поехала в Пестово с неохотой, словно я тащил ее на аркане, но снова была в новой модной одежде, на ее руке сверкал дорогой браслет.

– Ты сказочно разбогатела? Распухаешь от богатства?

– Ты об этом? – она небрежно показала на браслет. – Это подарки... Родственники.

Купаться она не стала, переделась в купальник, постояла с полчаса на солнце с закрытыми глазами и пошла в кабину переодеваться.

– У меня сегодня свидание... деловое.

Больше она не приходила. Но через два года, когда я уже жил в другом месте, она внезапно объявилась снова. Однажды под моим окном остановился вишневый «Москвич», из него вышла красивая женщина в облегающем кожаном костюме цвета «металлик», сняла перчатки и крикнула:

– Привет! Еле разыскала проезд к тебе.

Это была Аля, только освещенная счастьем.

– Отлично выглядишь! – выпалил я, высунувшись.

– Стараемся! – она прищелкнула языком. – Выходи, прокачу!

Все получилось, как я предсказал в шутку. Она вышла замуж за преуспевающего, обеспеченного мужчину и теперь жила в большой, хорошо обставленной квартире. У нее уже был ребенок и дача... Вот только в садовники она меня не пригласила, но я не очень-то расстроился, поскольку уже был увлечен работой и не стал бы тратить время на разведение цветов.

Затемненная часть леса

В городе она чахла день ото дня и с щемящей тоской то и дело смотрела в небо, словно птица с подрезанными крыльями.

– ...Здесь сплошной асфальт и глухие стены, не дома, а ловушки, а у нас в деревне простор: луга и озеро, синие травы, цветы, землеройки, стрекозы, – говорила она мужу.

– У нас летом в домах настежь распахнуты окна и двери, а здесь решетки, засовы, – в ее глазах появлялось целое озеро презрения – такое же огромное, как там, в деревне, где они впервые встретились. – Здесь все механизировано, даже людей знакомит, сводит вычислительная машина. А все должно оставаться, как есть, по природе. Загадка, тайна жизни должны оставаться, их нельзя разрушать всякими вычислениями. . .

За полгода жизни в столице она так и не смогла вжиться в непривычную среду, так и осталась дикаркой с первобытными чувствованиями. Первое время ее иногда охватывало радостное возбуждение; ванной с горячей водой, газовой плитой, холодильником, телефоном она восторгалась как ребенок; витрины магазинов, кинотеатры приводили ее в тихое восхищение; когда они с мужем находились в квартире вдвоем, в ее голосе звучали веселые нотки, на лице появлялась счастливая улыбка, но это была недолгая, нечаянная радость – вскоре она сникала и мысленно возвращалась в деревню.

– Как там без меня мама, сестренка? – чуть не плача, обращалась к мужу.

Даже в самые счастливые минуты она не забывала о несчастных, о тех, кто нуждался в ее поддержке и помощи.

Если же заходили приятели мужа, она некоторое время молчаливо сидела с гостями и вслушивалась в разговоры; когда обращались к ней, краснела и отвечала, запинаясь, но с такой неслыханной обескураживающей откровенностью, что всех ставила в тупик. Заметив на лицах замешательство, она еще больше смущалась и нервно теребила платье или съезживалась, обхватив себя за плечи. Случалось, в компании разгорался спор, и если тогда спрашивали ее мнение, беспрекословно держала сторону мужа, и вновь всех обезоруживала – уже своей искренней беспредельной преданностью. Находиться в компании – было для нее мукой; не раз она внезапно вставала, уходила на кухню и писала родным письма.

На шумных многолюдных улицах она и вовсе терялась.

Первые дни без мужа вообще не выходила из дома, а когда они вместе отправлялись в магазины за покупками, шла вцепившись в его локоть и то и дело пугливо, с опаской озиралась по сторонам.

– Почему все на меня так смотрят? – спрашивала.

– Ясно почему – ты красивая.

– Не-ет. Сразу видно, что я не горожанка. . . И не знаю, смогу ли стать городской женщиной. Здесь, в городе – жуткий шум, беспорядочная жизнь, бесовщина. Все куда-то несутся, говорят громко, твои приятели кого-то изображают как на маскараде, их суждения скороспелые, а слова заученные, обкатанные. . . Горожане оторвались от природы и за это поплатились: все нервные, издерганные, нет у них в душе спокойствия – смута одна. И любви к ближнему нет – каждый живет сам по себе.

. . .Они встретились на озере, около ее деревни – то лето он, студент выпускник, проходил практику в соседнем городке, и однажды, после купанья, загорал на берегу озера. Стоял знойный полдень, над водой текли запахи разнотравья, слышалось гуденье пчел. Внезапно в это гуденье вплелась чья-то песня, какая-то певунья с молодым, чистым голосом приближалась к песчаной отмели. Приподнявшись, он увидел – вдоль берега идет девушка, в светлом платье, с еще более светлыми распушенными волосами. Идет босиком, аккуратно раздвигая

цветы и травы. Она вышла прямо на него, и моментально смолкла, и застыла, уставившись на незнакомого мужчину.

– Замечательно поете, – он широко улыбнулся и широким жестом пригласил певунью присесть, как бы щедро отдавая ей часть своих владений. – Спойте еще что-нибудь.

Но девушка стояла неподвижно. Серьезный, недоверчивый взгляд, ни тени улыбки – рот пухлый, немного упрямый – этакая диковатая деревенская простушка, но с отличной фигурой и, судя по выражению лица, – с характером – он это понял сразу.

– Спойте еще что-нибудь, – повторил он, – и присаживайтесь. Не бойтесь, я не кусаюсь.

Поколебавшись, она все же подошла и присела, тщательно надвинув платье на колени. Из-за трав, тяжело дыша, выскочил большой пес дворняга. Бросил на студента суровый исподлобья взгляд, припадая на переднюю лапу, подбежал к девушке и плюхнулся рядом.

– Это ваш телохранитель?

– Его зовут Джуля, – глухо пояснила девушка, все еще пристально изучая незнакомца. – Он ничейный. Ночует, где вздумает... Он свободолюбивый, гордый. Только меня признает...

– Сразу видно, он вас любит.

– Ходит за мной по пятам, – немного оживившись, кивнула девушка и погладила собаку. – Но из дома вырывается... Я его и заботой и лаской окружаю, все равно вырывается... Он лучше погибнет, чем будет жить в доме... Вот однажды попал под машину... Теперь калека, – почувствовав, что слишком разговорилась, она опустила глаза и снова надулась.

– Вы из этой деревни? – он показал на косогор, где виднелось с десятков домов под раскидистыми деревьями.

– Угу.

– Издали деревня как картина. Наверное, и вблизи не хуже. Вот бы провести лето в вашей деревне.

Она сдула волосы, падавшие на лоб, и пожала плечами, как бы говоря: «Кто вам мешает?».

– А вам не скучно здесь жить? – вдруг спросил он, вспомнив, что большинство сельской молодежи стремиться перебраться в город.

– Не-ет, – она покачала головой. – И некогда скучать. С утра на работу, вечером надо полоть, поливать огород, загонять коз, кормить поросенка... Потом мы с сестренкой еще вяжем кружева... Хм, скучно! Всегда можно покататься на лодке – вон у нас какое озеро!

– Озеро прекрасное. Хорошо бы прокатиться на лодке. С вами. И с Джулей, конечно. А лучше без него.

Она не обратила внимания на его полушутку-полунамек, а может быть просто не поняла.

– Хм, скучно! По вечерам Зинка, моя подружка, выносит во двор проигрыватель и все собираются у нее. Полный двор набивается. И дети, и собаки, и кошки приходят. Ведь музыку любят все: и люди, и животные, и растения, – она вновь погладила пса, который совсем раскис на солнцепеке, потом откинула волосы и вздохнула. – Но, конечно, в городе интереснее... А вы горожанин – сразу видно. Белокожий, не такой, как наши, – она покраснела от своей смелости, но продолжила:

– Я не люблю горожан. Они все самоуверенные, наглые, после их культурных выездов на природу, вокруг озера банки, окурки... Высыпят из автобуса как орда, все переломают, всех распугают. Их накажет Бог... Они говорят: «Бога нет», но почему тогда борются с Богом?! Зачем бороться с тем, чего нет, как они считают?!

Он попытался защитить свое никчемное сословие, сказал, что горожане разные, и что он, например, бережно относится к природе и «иногда» обращается к Богу – «когда бывают неприятности».

Они проговорили еще с полчаса, потом он проводил ее к деревне, причем пес шел между ними и все время недовольно бурчал. На околице они попрощались. Она посмотрела на него долгим взглядом и в нем уже не было прежней настороженности.

– Давайте в воскресенье покатаемся на лодке, а потом послушаем музыку у Зинки, – предложил он.

– Хорошо, – просто ответила она.

Романтическая встреча у озера, катанье на лодке (она все-таки и пса прихватила с собой на всякий случай, хотя тот и не хотел лезть в лодку – видимо, раньше них почувствовал, чем кончатся эти катанья и смирился с тем, что отходит на второй план), вечернее гулянье за деревней, после того, как прослушали Зинкины пластинки, – все это вскружило ему голову, а ее преобразило: ее стесненность и замкнутость перешли в открытость и доверчивость, без всяких сдерживающих границ.

Они катались по озеру и в последующие воскресенья, а потом он стал приезжать в деревню каждый вечер.

От его знакомых горожанок она отличалась естественностью и нравственной чистотой, без всякой наигранности восторгалась простыми вещами, будь то кухонная утварь, которую он купил в городке и подарил ее матери, или его складное бамбуковое удилице. Она была неиссякаема на выдумки: то предложит вылазку в лес «рассматривать мхи» и покажет место «где обитает леший», то приведет на дальний залив озера и почти серьезно скажет:

– Здесь живет водяной, может затащить в глубину.

А от ее внешности он потерял сон; вернувшись ночью в общежитие, только и видел – она идет по тропе, гибкая, смуглая, светловолосая, идет и напевает что-то веселое...

Ее тянуло к нему, как тянет каждую созревшую девушку к парню с легким характером, с которым интересно и надежно, а он был еще симпатичным и простым, не то, что туристы, которые совершали набеги на озеро. Некоторое беспокойство в ней вызывало то, что он из другого мира, но он ни разу не подчеркнул дистанцию между ними, словно между цивилизованным городом и патриархальной деревней нет существенной разницы, и вообще среда не влияет на человека. Больше того, он проявлял неподдельную заинтересованность сельской жизнью – внимательно, без насмешки, выслушивал ее рассказы о доярках, коровах и телятах, а ее кружева назвал «самой красивой паутиной». О жизни горожан он говорил мало и нехотя, как о чем-то малоинтересном, правда, однажды заметил, что «идеально было бы зимой жить в городе, а летом в деревне».

Она работала телятницей на животноводческой ферме в пяти километрах от своей деревни. Каждое утро на велосипеде ездил через луга на работу и ее всегда сопровождал Джуля; под вечер он прибежал к ферме, чтобы встретить свою любимицу. С появлением студента, пес провожал ее только до дома, затем тактично удалялся.

Она привела своего поклонника в дом на глазах у всей деревни и сделала это безбоязненно, даже с некоторым вызовом. И ее мать, и младшая сестра-школьница встретили его приветливо. Мать пожаловалась на расшатанное крыльцо и протекающую крышу сарая, и без всякой задней мысли, объяснила, что «нет мужских рук». Сестра похвасталась отметками в тетрадках и сказала, что хочет стать учительницей, «чтобы учить детей правде и любви к животным».

В их ветхой избе стояла предельно скромная мебель, но полы были тщательно вымыты, застелены половиками, стол покрывала расшитая накрахмаленная скатерть, на окнах висели кружевные занавески и связки благовонных трав.

– Хорошие запахи дают хорошее настроение, помогают работать, а если заболеешь, от них выздоравливаешь, – пояснила она своему ухажеру.

Они пили чай, заваренный листьями смородины; мать говорила о будничных делах, о сенокосе и огороде, об угасании деревни и дачниках, скупающих за бесценок дома; говорила о

чем угодно, только не о влюбленных, словно это была запретная тема, святое таинство, которое благословляют не на земле, а на небесах; это подтверждали и ее действия: время от времени она поворачивалась к иконе, которая висела в углу и молилась. И влюбленные помалкивали о своих отношениях, только школьница хитровато посматривала в их сторону и корчила разные замысловатые гримасы.

Ближе к осени, под конец практики, он сделал ей предложение и она восприняла это, как великую милость.

– Ты очень хорошая и красивая, – сказал он и легко обнял ее.

Она затаилась, наклонила голову, так что волосы совсем скрыли ее лицо, еле слышно прошептала:

– Спасибо.

– Ты мне очень нравишься, – он поцеловал ее в ухо. – Я влюбился в тебя.

– Спасибо.

– Давай поженимся.

– Спасибо.

Приятели в общезнании назвали его «дуралеем». По их понятиям он совершил грандиозную глупость, самоубийственный шаг. «Она ударится в накопительство, превратится в мещанку, знаем мы этих из простонародья, «из грязи в князи», – говорили приятели, а он усмехался:

– Я догадывался, что вы не будете рукоплескать, но мне все равно. Она будет прекрасной женой, моя милая молочница и кружевница! Она вяжет потрясающие кружева... Ваши городские девицы всем пресыщены, их ничего не удивляет, у них такие запросы! А она счастлива от мелочей.

– Ну, да, ты будешь ее звать «Сельская дурочка», а она тебя «Городской идиотик!» – не унимались приятели.

– Завистники – вот вы кто! – парировал он.

Для большей прочности и долговечности брака, они устроили три свадьбы: первую, довольно скромную – в деревне, вторую, еще более скромную и чопорную – с его родителями, третью – бурную и расточительную – со столичными друзьями.

Она резко перешла из одной среды в другую и сразу же задохнулась в городе, как рыба, выброшенная на берег. Уже через месяц ее ничто не радовало; она добросовестно выполняла функции домработницы, безропотной прислуги, возлюбленной, с еще неразбуженным темпераментом, но не была мужу единомышленницей, не жила его интересами. И все время думала о родных.

– ...Мама без меня не справится с хозяйством, и кто поможет сестренке в учебе? – то и дело говорила мужу. – Я знаю, им без меня плохо... И я скучаю по ним. Так и слышу голос сестренки: то ее смех, то плач... Это грех – нельзя строить свое счастье на несчастье других... И по Джуле соскучилась...

Он успокаивал ее, говорил, что на следующее лето они обязательно поедут в деревню, рассказывал о своей новой работе, пытался заразить будущим: отдыхом у моря, машиной, на которую начал откладывать деньги. Она улыбалась, но смутно, удрученно:

– Да, мама всегда говорит: «Жизнь прожить, не поле перейти».

Он заметил – за прошедший месяц она внешне резко изменилась: ее красота стала какой-то надломленной, в движениях исчезла гибкость, взгляд потускнел, волосы потемнели. Она была хороша в деревне, в своей привычной среде, а в город явно не вписывалась: в городских одеждах чувствовала себя стесненно, на улицах в суতোлке выглядела уязвимой, незащищенной, не понимала говор москвичей, значение многих слов, постоянно ловила, как ей казалось, «осуждающие взгляды». «Чтобы отражать чужую злую энергию», носила зеркальце в кармане.

Еще по приезде она попросила его сколотить деревянные ящики и развела на балконе осенние цветы, посадила лук, укроп, петрушку.

– Вряд ли наш огород даст урожай, – шутливо заметил он.

– Это требует много времени, но если ухаживать и утеплить балкон... – она обстоятельно и подробно объяснила, как выращивать осенние культуры.

Но несмотря на все ее старания до заморозков, кроме цветов, вырос только лук, да и тот был бледным и тонким. И цветы особой яркостью не отличались.

– Здесь и воздух и солнце не те, что у нас, – горько усмехалась она.

Ее привязанности оказались намного устойчивей, чем он предполагал, но все-таки не придавал этому большого значения. «Привыкнет, – думал. – Главное, ее не надо развлекать, куда-то водить для увеселений. Она домашняя, а это самое ценное в жене».

Днем она прибирала в комнате, стирала, готовила ужин, но все делала без горения, скорее по обязанности, при этом двигалась по квартире медленно и бесшумно, как улитка, и никогда в квартире не пела. И крайне редко выходила в коридор, где находился мусоропровод – стеснялась соседей по лестничной клетке, и, отвечая на их приветствия, смотрела недоверчиво, отчужденно. Сделает домашние дела, посмотрит телевизор, возьмет вязание, но тут же отложит, подойдет к окну и видит... деревню на косогоре, заливные луга, озеро... Временами ей хотелось все бросить и немедленно уехать к родным, но привязанность к мужу, долг перед ним удерживали ее.

– Я словно в паутине, – бормотала она, – и как мне из нее выбраться? Это дьявол заманил меня в город.

По вечерам, ожидая мужа, она одиноко сидела в сквере перед домом, потерянная, подавленная, безучастная ко всему происходящему. Как-то он услышал от нее какое-то странное измышление:

– Сейчас вон там пробежало что-то восьминогое, быстробегающее...

Он отнес это к ее очередной «деревенской» выдумке и все свел к шутке, но через некоторое время она потеряла сон – не раз среди ночи он заставал ее стоящей у окна в ночной рубашке с застывшей улыбкой и взглядом, устремленным в черную пустоту. А потом...

На окраине города она обнаружила лесопарк и стала чуть ли не ежедневно туда ездить; гуляла вдоль пруда, подкармливала бездомных собак и птиц.

– Как там в зеленом заповедном уголке? – спрашивал он. – В воскресенье можем погулять вдвоем.

– Там много деревьев и есть пруд, – вздыхала она. – Все сумеречное, не такое, как в деревне, но все же... В городе удушливый запах, потому и деревья и люди больные... В лесопарке гуляют старики и старушки, тоже кормят собачек и голубей, но относятся к ним неправильно. Не понимают, их надо любить не как людей, а по-другому, собак по-собачьи, птиц – по-птичьим... А молодежь там бесстыдная. Пустоцветы. Болтают что-то и лопаются, как болотные пузыри... Там есть памятник какому-то ученому, у него глаза живые, куда не пойду, смотрит мне вслед... Недавно его губы зашевелились и я услышала: «Ты большая грешница». У меня предчувствие – что-то случится...

Она сильно нервничала, даже покрылась красными пятнами. Это уже была не выдумка, и в него вселилась тревога. Он понял – городская атмосфера, словно сильнодействующий яд, поглощает всю ее жизнь.

Зимой она впала в депрессию: подолгу остекленело смотрела в одну точку, то вдруг смеялась каким-то тайным мыслям. Возвращаясь с работы, он находил на столе бумажные клумбы, картонные деревья, какие-то пятна, подтеки.

– ...Здесь солнечная поляна, а это затемненная часть леса, – объясняла она со смущенной улыбкой.

– Какая затемненная часть леса! Ну, что ты говоришь, дорогая?! – он обнимал ее, дружелюбно встряхивал, но внутри чувствовал нарастающий страх.

– Нет, правда. Вот смотри – тыходишь, ничто не меняется, а я подхожу – все оживает, появляются краски, – прерывисто дыша, судорожными движениями она переставляла бумажно-картонные изделия...

Он вызвал врача. Врач выписал таблетки и на какое-то время она избавилась от навязчивых представлений, сон наладился, но часто во сне из ее груди вырывался тихий жалобный стон. Она стала еще более вялой, ходила по квартире, словно под гипнозом, отвечала невпопад, задавала вопросы, от которых он терялся, и после каждого письма из деревни, начинала плакать.

...Приближалась весна. Однажды, вернувшись с работы, он увидел на столе записку:

«Наверно, я никогда не смогу стать горожанкой. Тебе нужна другая жена. Прости меня, милый!».

Счастливец с нашей улицы

Я отчетливо его помню. Он жил в конце нашей улицы.

Бывало, идет по тротуару, высокий, стройный, в гимнастерке, перетянутой портупеей, с планшеткой, перекинутой через плечо, в пилотке, небрежно, с некоторым шиком, сдвинутой набок, в новеньких скрипучих сапогах. Идет и насвистывает модный мотивчик, со всеми здороваётся, вскидывая руку к пилотке, и улыбается, приветливо и дружелюбно – улыбка, как нельзя лучше, выражала его приподнятое состояние.

Когда он шел по нашей улице, мы, мальчишки, стонали от зависти, а девушки застывали в тихом восторге. Его имя было Ростислав, но все звали его Ростик. Мы знали о нем все: он закончил летное училище и служит в части на окраине нашего городка, живет с матерью-старишкой, у него есть девушка – по воскресеньям он гуляет с ней в парке и фотографирует ее «лейкой», он играет в защите местной футбольной команды «Крылья Советов», любит музыку и курит папиросы «Казбек»... Мы считали его невероятным счастливецом и торопили время, чтобы скорее вырасти и тоже стать летчиками.

В то предвоенное время на нашем аэродроме базировались самолеты И-2, которые назывались АДД – авиацией дальнего действия... Мы прибегали к закрытой зоне аэродрома, ложились на бугор и часами смотрели, как за колючей проволокой механики готовили машины к полету, как по летному полю сновали бензозаправщики, а с бетонной полосы на тренировочные полеты то и дело с ревом взлетали бомбардировщики. Мы знали их по номерам, и, когда взлетал экипаж Ростика, нас охватывал безудержный восторг, мы вскакивали и с криками бежали вдоль изгороди вслед за улетающим самолетом.

Иногда по вечерам Ростик появлялся на улице; мы сразу окружали его, чуть не висли на нем, а он, с неизменной улыбкой, по-взрослому, здоровался с каждым из нас за руку и называл «орлята»... Присядет на скамью, достанет папиросу, постучит ею о пачку, выбивая осыпавшийся табак, закурит и радостно скажет: «Прекрасный вечер!» Или: «Прекрасная погодка!» Или: «Сегодня прекрасно поработали!»

«Прекрасно» было его любимым словом. И наш городок был для него прекрасным, и на прекрасных самолетах он летал, и его девушка Аня была самой прекрасной на свете – не случайно он столько ее фотографировал! Ростик рассказывал нам о скоростных истребителях и о самом большом в мире самолете «Максим Горький», об испытателях парашютов, о перелетах Чкалова и о спасении челюскинцев. Он рассказывал увлеченно, с жаром, так, что нас начинала бить дрожь... Потом вдруг встанет, одернет гимнастерку:

– Ну я пошел!.. А для вас есть прекрасное задание – научиться делать планеры и закаляться, как сталь. Сами понимаете – авиации нужны сильные и отважные парни...

Мы не пропускали ни одного матча команды «Крылья Советов». Особенно болели за Ростика, для нас он был лучшим защитником в мире. Даже когда «Крылышкам» забивали голы, мы не видели промахов своего кумира, просто считали, что вратарь «шляпа», и уж, конечно, не замечали мастерства соперников.

Однажды в воскресенье, направляясь с Аней в парк, Ростик пригласил и нас «покататься на карусели и сфотографироваться» – сделать, как он сказал, «прекрасный групповой портрет на память». Кажется, это был его последний снимок, и мне думается, он сделал его неспроста, предчувствуя долгую разлуку.

Мы получились смешно: горстка замызганных сорванцов вокруг Ани в ослепительно белом платье; у нас – напряженные позы, вытаращенные глаза, вымученные улыбки, а Аня, точно фея, – одного из нас обнимает за плечи, другого держит за руку – стоит непринужденно и улыбается фотографирующему нас Ростик. До сих пор я храню тот снимок как бесценную вещь, как лучшее напоминание того безмятежного времени и... как свою боль.

В начале войны завод, на котором работал отец, демонтировали и отправили за Волгу. Вместе с заводом эвакуировали семьи рабочих. Собирались второпях, брали с собой самые необходимые вещи; грузились в старые, продуваемые товарные вагоны, которые точно в насмешку называли «теплушками».

Наш товарняк тянулся медленно, подолгу простаивал на запасных путях, пропуская воинские эшелоны, спешившие на запад. В одном вагоне с нашей семьей ехала Елена Николаевна, мать Ростика, и Аня с родителями.

Елена Николаевна, сгорбленная старушка с усталым лицом, закутавшись в плед, сидела около печурки «буржуйки», которая стояла посреди вагона, и рассказывала Ане о сыне. Почти с детской непосредственностью Аня выспрашивала у Елены Николаевны всяческие подробности из жизни Ростика до их знакомства, а после разговора забиралась на полку и рассматривала фотографии своего возлюбленного. Посмотрев фотокарточки, она перевязывала их бечевкой и прятала в чемодан. Я был уверен – эти снимки представляли для нее единственную настоящую ценность из всего утлого скарба ее родителей... Глядя на Аню, я испытывал романтическое любопытство к тайной связи между нею и Ростиком, ощущал себя причастным к великой любви.

Наш состав прибыл в Заволжье в конце лета. От железнодорожной станции до рабочего поселка, где нам предстояло жить, семьи и заводское оборудование перевозили на грузовиках по расхлябанной, размытой дороге, среди черных от дождей построек и жухлых кустарников. Часть эвакуированных, в том числе Елену Николаевну и Аню с родителями, расселили по частным квартирам. Нам предоставили общежитие металлоремонтного завода – дощатый барак со множеством комнат; раковина и туалеты – в одном конце коридора, кухня – в другом. Сколько я помню, в общежитии всегда царил полумрак и холод, только на кухне было тепло от «буржоек». На кухне все и собирались: женщины готовили чечевичные похлебки, мужчины угрюмо курили самокрутки и обсуждали дела на фронте, мы играли в «махнушку» – кто больше подбросит ногой кусок меха со свинцовым кругляшом.

В школу ходили за три километра; на весь класс выдавали три-четыре учебника, тетрадей не было – писали на оберточной бумаге. После школы гоняли тряпичный мяч, играли в «расшибалку» и «чижа», лазали по свалке в поисках «ценных шуток», через туалет пролезали в кинотеатр «Вузовец».

Как-то возвращаясь из школы, я повстречал Аню. Она первая окликнула меня и удивленно спросила:

- Чтой-то ты несешь ботинки в руках?
- Не видишь разве, они почти новенькие, – ответил я.
- Мать недавно купила на базаре. Сказала «береги»... Я и берегу.
- Дурачок! Надень сейчас же, простудишься!

Аня заставила меня обуться, рассказала, что работает учетчицей на заводе, и похвалилась письмом от Ростика, при этом ее лицо посветлело. Я смотрел на нее и думал, что, когда вырасту и стану летчиком, у меня тоже будет невеста, такая же красивая и преданная, как Аня.

Однажды зимой мать послала меня в керосиновую лавку... Я брел по грязному, перемешанному с гарью снегу, пинал попадавшиеся куски льда и вдруг чуть не столкнулся с Еленой Николаевной. Она везла дрова на санках, ее седая голова была укутана драным платком, полшубок опоясывала веревка, из бот выглядывали тряпки. Она шла зигзагами, то и дело проваливаясь в придорожные сугробы. Когда я поздоровался с ней, она подняла на меня темные запавшие глаза:

– А-а, это ты! Здравствуй, здравствуй!.. Ты Аню случайно не видел? Первое время она часто заходила, а сейчас что-то редко... Вот уже месяц как ее не видела.

Я помог старушке подвезти санки, и в благодарность она пригласила меня «попить чайку».

Елена Николаевна жила в полуподвальной комнате, где стояли железная пружинная кровать с матрацем, из которого вылезали клочья ваты, «буржуйка» с длинной трубой, тянувшейся через весь полуподвал и выставленной в маленькое окно у потолка, расшатанный табурет и стол с алюминиевой посудой и свечой в ручейках застывшего воска.

Когда мы вошли в помещение, нас встретил тощий пес.

– Это Артур, – сказала Елена Николаевна. – Он был ничейный. Вдвоем-то нам веселее коротать время... Ты животных-то любишь? У нас с Ростиком всегда были животные... А в школе у тебя как, все хорошо? А мама с отцом как?.. Давай-ка с тобой растопим печурку, да заварим кипяток сухариками и попьем. Сухариков у меня много...

За чаем Елена Николаевна сказала:

– Хорошо, что тебя встретила. И помог мне, спасибо. И вот что. На-ка почитай мне письмо от Ростика... У самой-то у меня зрение стало никудышное... Недавно получила. С фотографией...

Она достала из-под матраца конверт и протянула мне.

Я начал читать и сразу понял – старушка уже знала письмо наизусть: подсказывала слова, когда я запинаясь, и поправляла по памяти. Ростик писал про свой экипаж: о командире, штурмане, стрелке-радисте, о том, что у них замечательный самолет – «летает прекрасно, как пчела». Писал, что в их отряде появился лисенок. Его подобрали полузамерзшим и назвали Лиской. С Лиской они делятся пайком и берут с собой на вылеты. «Первое время, – писал Ростик, – Лиска, боялась шума. А теперь привыкла, только надеваем комбинезоны, сама бежит к самолету и лезет в кабину». Ростик просил мать беречь себя и не волноваться за него и заверял, что они обязательно разгромят фашистов. В конце письма сообщал, что послал Ане пять писем, но получил только два и те давно. «Почему она редко пишет?» – спрашивал он.

На фотографии Ростик выглядел отлично, как и прежде, как всегда: тот же приветливый взгляд, та же улыбка. На руках он держал остромордую зверюшку с пушистым хвостом.

– Вот так, – вздохнула Елена Николаевна, когда я закончил чтение. – У меня Артур, у него Лиска... А почему Аня ему не пишет, я и сама не знаю. Ведь она отзывчивая девушка и любит Ростика... И ко мне не заходит. Работы у них, конечно, много, они и в ночь работают, но все же не написать... Может, заболела? Ты бы ее разыскал, она где-то у завода живет...

Слова Елены Николаевны сильно озадачили меня, я никак не мог понять, почему Аня не пишет Ростика. Ее молчание я воспринимал как личное оскорбление: «Пусть работает, пусть заболела, но не написать Ростика!».

Неделю я проторчал у заводской проходной и наконец увидел ее. Она вышла с парнем в черном флотском кителе, весело кивнула мне, но тут же, прямо на моих глазах, как ни в чем не бывало, взяла матроса под руку, и они зашагали к остановке автобуса. Оторопев, я застыл; потом спохватился и устремился за ними.

Некоторое время я выслеживал их, и отчетливо слышал, как он назвал ее «чудо природы», и видел, как на ее лице появилась счастливая улыбка. Потом до меня донеслись ее слова:

– Заходите ко мне в цех...

Дальше все дорисовало мое воображение – я понял: у Ани появился новый поклонник. «А как же Ростик?!» – моему возмущению не было предела.

Вскоре я выведал у заводских подростков, что матрос – вовсе не матрос, а шофер, что матросом он никогда не был и вообще освобожден от военной службы из-за какой-то болезни – просто живет рядом с Аней и провожает ее, «чтобы не напали хулиганы». Я немного успокоился, но все же решил выяснить, почему она не пишет Ростика.

Из-за Ани я сильно запустил занятия в школе, и, когда об этом узнал отец, мне порядком влетело. Слежку пришлось прекратить... Но к Елене Николаевне я продолжал наведываться раз в неделю. Весной она получила еще одно письмо; Ростик писал, что жив и здоров, что они каждый день «бомбят фашистов», что у них «вовсю бушует прекрасная весна и девушки-тех-

ники, которые готовят самолеты к полету, кладут в кабину букетики цветов, чтобы мы знали, что нас ждут на земле». «А Лиска все летает с нами – она приносит удачу». В конце письма Ростик снова спрашивал, «почему Аня совсем не пишет?».

В тот день, когда я перечитывал Елене Николаевне это письмо, она сообщила мне, что в наш поселок приехал цирк шапито. Наутро на окраине поселка я и в самом деле увидел крытый грузовик и прицеп-фургон, облепленный афишами. Фургон был с дверью, окнами и откидными ступенями – целый дом на колесах... Подойдя ближе, я услышал в фургоне рычание собаки и мяуканье кошки. Заглянул внутрь, а там за яркими костюмами на табурете сидит усатый толстяк и... лает и мяукает. «Сумасшедший, что ли?» – подумалось.

– Похоже? – спросил мужчина, заметив меня.

Я кивнул...

– Ну тогда садись, слушай дальше, – и он засвистел соловьем, заквакал лягушкой.

– Здорово у вас получается, – я прищелкнул языком. – Только зачем?

– Приходи вечером, узнаешь... Тебя как зовут? Меня Игорь Петрович...

Вечером около грузовика появился огромный шатер и будка-касса, вокруг которой выстроилась очередь. Я заглянул в фургон – Игорь Петрович сидел на прежнем месте и что-то клеивал.

– Залезай! – махнул он. – Вот билет на самое лучшее место. Отдашь контролерше, она тебя посадит. Только уговор – после представления сможешь разбирать лавки, договорились?

Я кивнул и, прижав билет к животу, дунул к шатру, потом взглянул на билет, а вместо него увидел клочок бумаги, на котором было написано: «Маша! Пропусти этого мальчугана!». Оторвавшись от «билета», я вдруг увидел – к шатру подкатила полупортка, и из нее вылезли Аня с «матросом». Они не заметили меня, хотя прошли совсем рядом, в двух шагах.

– Машина любит чистоту и смазку, а девушка – любовь и ласку, – проговорил «матрос», обнимая Аню.

Неожиданная встреча и присказка «матроса» сильно задела меня... Я мысленно сопоставил «матроса» с Ростиком, и на меня нахлынула жгучая обида, какая-то горечь подступила к горлу.

В том городке, где мы жили до войны, не было цирка, так что я совершенно не представлял, какое зрелище меня ожидает; только войдя под полог шатра и увидев множество ярких ламп и красный плюш на круглой арене, догадался – меня ждет что-то захватывающее. Оркестр из четырех музыкантов грянул марш, и я тут же забыл об Ане с «матросом», и о своих неурядицах в школе, и о родителях, которым даже не сказал, куда направился. Я ждал волшебства, и не обманулся...

Теперь, вспоминая то представление, я понимаю, что выступали довольно посредственные провинциальные артисты, но они были первыми циркачами, которых я видел, и поэтому навсегда остались в памяти. И еще – до сих пор передо мной стоят усталые лица зрителей – заводских рабочих, для них то представление было отдушиной в тягостной, полной изнурительного труда и лишений, жизни.

Больше всех запомнился клоун; он вышел на арену с резиновыми надувными зверями и, щелкая хлыстом, стал изображать укротителя: то стравит медведя с тигром, то сунет голову в пасть льва; и звери, словно живые, раскачивались и рычали. Иллюзия подлинности была полной, зрители покатывались от смеха, а я так просто давился хохотом... Когда погасли лампы и зрители начали расходиться, я увидел на манеже Игоря Петровича, и до меня дошло, кто за зверей подавал голоса.

– Ну как, понравилось? – спросил он, подходя.

Я ничего не смог ответить, только радостно закивал...

Мы принялись убирать лавки, и вдруг на полутемную арену выбежал черный пес и начал танцевать на задних лапах. Я остановился, стал наблюдать за собакой. А она расходилась всюю:

то прыгнет через невидимую планку, то перевернется в воздухе. Прodelав трюки, пес расклялся и заковылял к выходу, но наткнулся на барьер. Я засмеялся.

– Наш Чавка, – услышал я за спиной голос Игоря Петровича. – Он слепой... Два года назад после представления у нас загорелся шатер. Стали его тушить, а он рухнул и накрыл одного гимнаста. Думали, сгорел, вдруг видим – Чавка его из огня волочит. Оба дымятся. Сбили с них пламя, облили водой. Гимнаст выздоровел, а Чавка остался слепым.

Направляясь к дому, в одном из окраинных проулков я внезапно снова увидел полуторку «матроса». Машина стояла в тени под деревьями, но я заметил огонек папиросы в кабине, подкрался поближе и ясно разглядел рядом с «матросом» Аню.

...Летом мы подрабатывали на кирпичном заводе – подвозили к печи вагонетки с сырыми кирпичами. Несовершеннолетним разрешалось работать только по три часа, поэтому во второй половине дня мы отправлялись в парк, где проходили военную подготовку призывники в армию – мы смотрели, как они разбирают и собирают ружья, кидают учебные гранаты и, конечно, мы ужасно жалели, что не можем вместе с ними отправиться на фронт.

Как-то в воскресенье, направляясь в парк, я заметил на скамье парочку. Молодые люди сидели в тени кустов и пили фруктовую воду.

– ...Прохладная и вкусная, как раз то, что я люблю, – услышал я и сразу узнал голос Ани.

Сделав дугу, я приблизился к скамье со стороны кустов... Аня сидела с «матросом». Он что-то говорил вполголоса, а она, облокотившись на спинку скамьи и положив голову на руки, внимательно его слушала и то и дело вздыхала:

– Как интересно!

Мои прежние подозрения мгновенно подтвердились...

«Вот сейчас, когда она здесь строит глазки этому «матросу», Ростик летит на своем бомбардировщике и бьет по врагу», – подумал я, и ненависть к Ане охватила меня. Я следил за ними около часа. В какой-то момент «матрос» обнял Аню, и она с готовностью упала в его объятия. Я чуть не потерял равновесие и схватился за ветку; «матрос» обернулся.

– А-а, это ты, свисток! Ну как она, жисть-жестянка?..

Пойдем, Анютка!

Она даже не взглянула на меня, да и как могла взглянуть – ее глаза были закрыты, точно она в обмороке; покорно встала и взяла его под руку. Они проследовали к выходу из парка...

Я шел за ними до самого ее дома и, пока они прощались, стоял за деревьями и бросал в ее сторону гневные, презрительные взгляды... Когда «матрос» ушел, а она направилась к крыльцу, я вышел из укрытия и преградил ей дорогу. Видимо, у меня был угрожающий вид – ее лицо вспыхнуло.

– Предательница! – задыхаясь, проговорил я.

– Почему? Чем я тебя обидела? – удивленно спросила она, то ли не догадываясь, что я все знаю, то ли притворяясь, то ли просто еще витая в романтических облаках.

– Прокатись на машинке со своим липовым матросиком! – выпалил я и пошел в сторону. Где ей было знать, что их отношения с Ростиком давно были и частью моей жизни.

Как-то осенью, возвращаясь из школы, я увидел на окраине поселка мужчину в летной форме. Незнакомец шел, прихрамывая, опираясь на палку, рассматривал номера домов, что-то выпрашивая у встречных прохожих.

Я подбежал к нему, он улыбнулся и отдал мне честь – точно так же, как и Ростик когда-то...

– Вот, ты, наверное, все здесь знаешь... Где здесь проживает Елена Николаевна?

– Знаю, пойдете. А вы... вы от Ростика?

– Угу, – нахмурившись, буркнул летчик.

Он смолк, а я насторожился, меня охватило какое-то недоброе предчувствие, и я поспешил его отогнать:

– Вы с ним вместе летаете?

– Отлетали, брат, – тихо проговорил летчик. – Я вот с протезом... А Ростик... Ростика уже нет. Погиб он. Вот не знаю, как это выложить его мамаше и невесте...

В полдень на улице

Ошалело сверкает солнце, тянет теплый ветерок, птицы в небе ведут брачные игры, из водосточных труб хлещет, как из пожарных шлангов, одним словом – весна.

...Он вышел из ворот завода посмолить сигарету на солнцепеке, поглазеть на девчонок – надо ли пояснять – весна. И вдруг – она; вышагивает с синим зонтом, голову держит высоко, улыбается каждому встречному, что-то шепчет, срывает с веток набухшие почки, пританцовывает – на улице ей явно тесно – это и понятно – весна... Она взглянула на него, дурашливо хмыкнула, прошла мимо; ему стало жарко, несколько секунд колебался, потом все же догнал ее – опять же – весна, и сразу понял – она со странностями. Ну какая нормальная девчонка будет такое говорить?! Он всего-то произнес:

– Я за вами шпионю, – лишь бы завести разговор.

А она, не меняя улыбки:

– Раньше люди знакомились на балах, а теперь и знакомиться негде, правда? – голос низкий, с хрипотцой, на лице капли, а плащ мокрый, будто вся завернута в целлофан.

– Поэтому на улицах столько одиноких людей... Весна, уже совсем весна, – она повела в воздухе рукой. – Продают подснежники, мимозу... Смотрите – всюду шарики мимозы, пушистые, пачкающие! Как все изменилось – попробуй узнай переулок, сквер, киоск...

– Как вас зовут?

– Таня. А люди какие-то деревянные. Ничего не видят, не чувствуют, куда-то спешат... Ну конечно работа, ну конечно заботы, но не замечать весну!.. У вас есть любимая улица? У каждого есть. У меня – улица Пирогова. Сейчас там еще не очень, а вот летом... Там уйма зелени – и вся скромная, не броская.

– Кто вы?

– Я ведьма. Летаю на метле, – она потрясла зонтом, вновь дурашливо хмыкнула. – Мой зонт волшебного свойства. Чуть что не по мне – фьют! И улетаю...

– Нет, серьезно.

– Я художник, у меня живописная насыщенная жизнь.

Как вечная весна. А вы, судя по этой рекламе, – она кивнула на пятна солидола на комбинезоне, – трубочист.

– Что-то вроде. Кручу гайки, работаю слесарем.

– Люблю, когда мужчина все делает своими руками.

– Вот перекур устроил, но надо топтать назад. Как вас еще увидеть?

– Зачем? Мы так чудесно поговорили, – она засмеялась. – Пусть все так и останется. Не ахти какое событие – просто весна.

– Давайте вечером поговорим еще?

– Зачем? Все потому что – весна, остальное совсем ни при чем... Надо же, так неожиданно пришла весна. Но плащи еще снимать рано. – Она медленно пошла по переулку.

– Стойте! Я из-за вас опоздаю на работу. Давайте встретимся!

Она остановилась около подъезда, вздохнула.

– Ну хорошо, придумайте что-нибудь. Запишите мой телефон, – проговорила цифры и «до свиданья», и убежала вверх по лестнице – внезапно, как и появилась – ясное дело – весна.

После работы он позвонил. Она говорила чересчур спокойно, низким голосом – гулким, далеким, как эхо. «Завтра встретимся, – сказала, – сегодня занята». А вечер был теплый: птицы вовсю горланили, в канавах бормотали ручьи, гуляли парочки. «Занята! – ухмыльнулся он. – Если девчонка хочет, она приходит, а не хочет – придумывает отговорку: то голову вымыла, то подруга зашла – дежурные штучки».

На следующий день он позвонил снова. «Да, да, я вас узнала. Я начинаю привыкать к вашему голосу». Они договорились – он подойдет к ее дому. Она вышла в розовой кофте и малиновой юбке и в руках – опять синий зонт «метла». На вид она была его ровесницей, лет двадцати пяти; прямые волосы без всякой прически, зеленые глаза с крапинками, лицо – прямо иконописное. С минуту они смотрели друг на друга, и она дурашливо хмыкала, поджимая губы.

– Хорошо, что пришли, – сказал он, чтобы как-то сломать барьер, – с вами трудно встать. Чем вы так заняты?

– Набрасывала один эскиз, но получилось неважно. Во всем виновата весна.

Они пошли по переулку; она пальцем водила по стенам домов и бормотала хрипловатым голосом:

– Как хорошо пахнут... В детстве я перенесла болезнь почек и на время ослепла. Но у меня обострилось обоняние. Все получилось смешно. Зимой простудилась и лежала в постели, ждала, когда болезнь отступит. Целый месяц лежала и смотрела, как за окном мальчишки катаются на коньках. Раз не выдержала и, когда родители ушли, надела коньки и весь день гоняла как одержимая. Так и схватила воспаление почек.

– И сейчас побаливают?

– Нет, что вы! Теперь я и не знаю, где какие органы – ничего не чувствую. Зато по запаху определяю любую вещь с закрытыми глазами. У меня обоняние, как у собаки... Вы так можете?

– Наверно, смогу, – похвастался он. – А вы живете с родителями?

– Нет, одна... Мой отец умер, а мама живет с отчимом. Я не могу с ней. В доме должна быть одна хозяйка.

– Вы не замужем?

– Нет... И не хочу. Боюсь потерять мечту.

– Какую?

– Мечту о прекрасном человеке, которого все равно не встречу.

– Зачем тогда мечтать?

– А разве вы всегда мечтаете о том, что может сбыться? Мне это помогает работать. Это мой способ жить... Я даже разговариваю с ним.

– С кем?

– С этим человеком. Особенно весной...

Она взглянула на него прозрачными глазами – то ли шутит, то ли говорит серьезно – не поймешь. «Разыгрывает меня? – подумал он. – Просто работает под тронутую или в самом деле того?» Они прошли весь переулок и теперь пересекали сквер.

– Идеалов конечно нет, – продолжала она, – ведь мужчина для женщины главный друг и в то же время главный недруг, потому что женщина по своей сути жертвенница, а мужчина захватчик. Женщина с радостью готова отдать все то, что разглядит в ней мужчина. Разглядит и оценит, – она тяжело выдохнула и предложила: – Давайте посидим.

Он достал сигареты, протянул ей, они закурили.

– Вообще-то у меня есть жених. Ему восемнадцать. С ним я чувствую себя старухой. Ходит за мной как привязанный – смертельно влюблен и ревнует даже к дворовым собакам и деревьям. Правда, он хороший художник. В его работах божественность – они светятся... Но мне жалко его – он слабый. Слабый и ужасно глупый, раздражает своими глупостями. Есть старая истина – можно быть хорошим художником и полным дураком.

– А вы – злая.

– Да. И не люблю добреньких. Они и всех любят и никого, а уж злые если любят, так сильно... И семьи люблю беспокойные, где стычки – те хоть что-то ищут. А остальные квелые люди. Вообще спокойное счастье – удел ограниченных людей... Вы заметили, сколько стало квелых, спокойных? Кооперативные квартиры, «Жигули», дачи. Скупают ковры, хрусталь. «У всех есть, значит, и мне надо». Музеи, а не квартиры... Все завели библиотеки, для них книги

– тоже товар. Мой жених предложил выпускать обои с корешками книг классиков и намалеванным хрусталем. Оклеил комнаты и – все есть. Облегченные, развлеченческие вещи!.. Все-таки он талантливый... Господи, как много у нас трафаретных комнат и трафаретных людей! И как они духовно бедны. Ссорятся из-за мест для стоянок машин, ругаются в очередях, даже весной – противно! – она вдруг замерла, на ее губах застыла улыбка.

Он повернулся в сторону ее взгляда и увидел бабочку.

– Я загадала, если бабочка сядет, значит, я долго не умру... Надо же: ни цветов, ни листы и вдруг бабочка...

– А где вы работаете?

– В основном на улице. Собираю образы, краски, сюжеты, а дома только монтирую.

– А чем вы рисуете?

– Что под рукой. Мне все равно чем, лишь бы оставляло след. И я рисую не ради славы, одобрения, и не ради денег. Просто не могу не работать, – говорит, а лицо острое, взгляд серьезный и руки сложила молитвенно – точно перенеслась в храм.

– Покажите как-нибудь, что вы делаете.

– Как-нибудь покажу.

– А кто покупает ваши работы?

– Я сдаю их в комбинат. В комбинат графиков. Там, конечно, канцелярская обстановка и чиновники говорят канцелярским языком. Сейчас ведь для искусства дремучие времена. Хорошо хоть нет гонений и дают заказы. У меня есть заказы, я не самый последний художник, – она посмотрела на него с определенной гордостью и хмыкнула, но не дурашливо.

– Так вы – миллионерша.

– Что вы! Вот купила туфли, теперь целый месяц пью один чай. А это, – она кивнула на юбку, – шью сама... Я живу в живописной бедности, среди картин и книг, но свободно, без надрыва... И беру заказы только те, которые нравятся, а большинство работ делаю для себя.

– Зачем такое искусство? Оно же должно быть для всех.

– Должно, нужно – как я не люблю эти канцелярские слова! Никому я ничего не должна. Неужели вы этого не понимаете? – она недовольно повела рукой, вздохнула и продолжила тоном учителя: – Художник выявляет болезни общества, и выносит их на суд зрителей, и ищет истину, отстаивает справедливость... Конечно, вы в другом мире, но вы хотя бы ходите на выставки?

Он кивнул, чтобы не прослыть «деревянным», и перевел разговор.

– Давайте заглянем куда-нибудь, что-нибудь пожужим, выпьем.

– В другой раз. Давайте лучше посидим здесь. Смотрите – клейкие листочки появляются, – она потрогала свисавшую ветку и снова улыбнулась. – Никакая я не миллионерша. И у меня или много денег, или совсем нет – тогда влезаю в долги. А вообще я не люблю деньги. Когда они появляются, стараюсь побыстрее от них избавиться. Накуплю всяких нужных и ненужных вещей и облегченно вздохну. Без денег живется свободнее... Иногда, конечно, худо.

– Может, все же пойдём, выпьем немного.

– Не хочется. К тому же мне скоро нужно возвращаться, гулять с Феклой – моей собакой. У меня чудная Фекла. Лайка. Я ее безумно люблю... Давайте просто посидим, поговорим. Знаете, как приятно поговорить после долгой работы в одиночестве. Вам этого не понять – вы в коллективе, а я все время одна и мне нужно понимание, поддержка... особенно весной...

По дороге к дому он думал: «Она чокнутая, точно. С одной стороны вроде нормальная, с другой – то и дело какие-то выдумки, закидоны. Но художница, и красивая до жути. Надо бы поднатаскаться в живописи, а то еще подумает, что я совсем ничего не волоку. И надо рассказать о себе, чтоб знала, с кем имеет дело. Я ведь тоже собой кое-что представляю: на заводе уважают, денежки зарабатываю немалые, скоро мотоцикл куплю»...

Они договорились встретиться на следующий день около ее дома. И снова она вышла в необычной одежде: в зелено-голубой кофте со множеством складок и короткой темно-фиолетовой юбке, и опять в руках держала синий зонт.

– Вы так странно одеваетесь.

– У каждого свой аквариум... Ничего странного нет. Обыкновенно. А потом, по деталям одежды можно судить о человеке. Ведь вкус – это уже взгляд. О, господи, как с вами тяжело, несмотря на весну.

– Угу... Вы обещали показать работы.

– Сегодня у меня дома работает подруга. Может быть завтра.

– Тогда двинем в ресторанчик?

– Ой, какой же вы неугомонный. Там духота и все эти прилизанные, игольчатые мужчины и конфетные женщины. Терпеть не могу рестораны. Давайте погуляем, ведь весна!..

Она любила бродить в незнакомых районах города, любила тихие переулки, музеи – то, что на него нагоняло тоску.

Через час, когда они забрели на окраину, она вдруг ни с того ни с сего припустилась вперед. Он бросился за ней.

– В чем дело?

– Я загадала, если перегоню вон того мужчину, то у нас с вами будет что-то... Как вызов морали... Вообще-то не верится – уж очень мы разные... Правда, вы, чувствуется, сильный, уверенный в себе. И немногословный. Мужчина должен быть именно таким.

Когда они возвращались, он еле волочил ноги, а она шла вприпрыжку и все рассказывала о себе – как в детстве по вечерам с ребятами делили небо на участки и считали, у кого больше звезд, потом заговорила о лошади, которую решила купить, как подыскивала для нее гараж, придумала имя – Святой Павел, а друзьям объявила, чтобы без овса не заходили. Но гаражи оказались занятыми, и она решила держать лошадь в коридоре. А потом подумала: «жилыцы будут ворчать, да и по ведру овса в день надо и вообще работу придется забросить, ведь Павла придется пасти».

«Все это интересно, – думал он, – только как бы самому с ней не спятить».

Перед тем как расстаться, они покурили в ее темном подъезде.

– Спасибо вам за вечер, – тихо сказала она. – Завтра можно посидеть у меня. Вам понравится моя Фекла.

Он затянулся, огонек сигареты осветил ее лицо – она не дыша смотрела на него. Огонек погас, и она коснулась рукой его щеки.

– До свиданья! – прошептала и убежала.

Он догадывался – у них совершенно разные интересы и встречи будут ненадежные; он боялся, что не сможет соответствовать ее высоким запросам, но его сильно тянуло к ней, непонятной, загадочной. «Главное, у нее никого нет, – рассуждал он по дороге к дому. – Воздыхатель жених не в счет – сопляк, куда ему со мной тягаться».

Готовясь к свиданию, он долго плескался в ванной – чтобы не несло соляжкой, полчаса прихорашивался перед зеркалом, потом направился в магазин за бутылкой вина.

Она открыла дверь, и его обнюхала собака с узкой мордой. Комната отражала чисто художническое бытие – вещи располагались непродуманно, случайно; беспорядочно валялись подрамники, холсты; на стенах висели странные картины – портреты уродливых людей, на столе в банке стояли какие-то блеклые, болезненные цветы, над столом, подвешенный к плафону, красовался раскрытый синий зонт. Она встретила его в брюках и свитере болотного цвета и босиком.

– Хотите чаю? Я вас только чаем могу угостить. С печеньем. Или сразу будете смотреть мою живопись?

– Вначале посмотрю.

Портреты ему не понравились – на них все люди были вроде нее, какие-то с отклонениями. Он долго думал, что сказать, потом протянул:

– Написано здорово, но по-моему, они некрасивые – все эти люди.

– А я люблю все некрасивое: лица, деревья, дома. Все любят красивые ландшафты, киногероев, попугаев. Красивое сразу видно, оно заявляет о себе, но все красивое опасно: огонь, гроза, водопады, лавины... И хищники. И мужчины и женщины. Красивое притягивает к себе, но может и погубить... А некрасивое всегда прячется... Но в нем много красивого... внутри. Нужно только присмотреться... Вот взгляните на этот полуразвалившийся дом! Разве он не красив? А эти подрезанные деревья инвалиды?! И у кого только руки поднимаются их подрезать?! Это ж сатанизм!.. Я люблю дикие травы, бездомных животных, нищих, калек. Чем внешне ужасней человек или животное, чем больше слышу о нем гадостей, тем сильнее хочу его понять.

Он про себя усмехнулся: «Говорит, точно размазывает пастилу по стене... Меня-то это не колышет. Мне-то по душе все яркое, броское, а у нее все мрачное, дурь какая-то во всем».

Она достала из-под тахты папку, отбросила в сторону эскизы – какие-то пятна, помарки, потеки, кляксы, и вдруг показала пейзажи – далекие, волнистые просторы; картины напоминали праздничные ковры; он смотрел на них и вдруг вспомнил, как прошлым летом целыми днями гонял на мотоцикле приятеля за городом; носился по раскаленному асфальту и по проселочным дорогам, где по краям рос чертополох и в пыли барахтались воробьи; вспомнил, как пролетал бетонные мосты и деревянные настилы, и рабочие поселки, и деревни...

– Здорово! – сказал он. – Отлично сделано. На них хочется смотреть без конца. Они, как хороший фильм, когда хочется посмотреть вторую серию.

– Спасибо!

Ей было приятно, и он решил что-нибудь добавить, изо всех сил пытаясь говорить красивей, но ничего не смог придумать.

– Спасибо! – повторила она и дурашливо хмыкнула. – Но мне как раз эти работы не нравятся. Они как охранная грамота, чтоб не приставали, не разносили вот за это, – она кивнула на уродов в рамках. – Ну ладно, на сегодня хватит. Давайте пить чай.

– Вино, – уточнил он и откупорил бутылку.

Спустя некоторое время он спросил:

– Наверно скучно по вечерам одной-то? Не с кем поговорить.

– Я разговариваю с Феклой (та уже вовсю крутилась у стола и клянчила печенье). А еще у меня есть автогонщики, – она отодвинула кресло, и он увидел на полу покореженные и раздавленные игрушечные автомобили: легковушки, пикапы.

Он знал нескольких собирателей: один собирал монеты, соседка детские книжки... но эти сломанные игрушки! Теперь до него дошло, что она женщина только внешне, а внутри девчонка, девчонка с интересными странностями.

Она привстала, поправила стебли цветов на столе, а ему пояснила:

– Это ирисы. Вот жаль, и первые, и последние цветы не имеют запаха. По легенде, ирисы волшебные цветы, принесешь их к мертвым, и они оживают...

Он поднял стакан:

– Выпьем за вас... за тебя! Ты мне очень нравишься!

Она затаилась, потом наклонилась к собаке и шепнула ей в ухо:

– Скажи, что наш гость мне нравится тоже.

Он подсел к ней, обнял, но она отстранилась.

– Я вообще-то не хотела сегодня встречаться... Боюсь привыкнуть... Не хотела и вот... не смогла. Видимо, потому что весна... С вами почему-то спокойно... Но со мной не может быть ничего хорошего. Для любви люди специально рождаются. А у меня все как-то не так. И потом, я совсем вас не знаю. Где вы работаете?

Он заговорил о заводе, о своем увлечении мотоциклами, но она сразу перебила его и начала рассказывать о своем детстве, о подмосковном городке:

– ... Там были горячие лужи, гладкие камушки, хрустящая хвоя и густая, тягучая смола... Я там училась в художественной школе, собирала яблоки, падающие в овраг, и рисовала болотные цветы, похожие на узоры, завитки, вензеля... Кто туда ни придет, сразу ругает те места: «Все маленькое и реки нет». А мне так дорог тот клочок земли...

Она совсем забыла о нем; смолкла и уставилась в одну точку.

... Он ушел от нее в полночь, когда гасли фонари и по пустынным улицам ползли поливальные машины; ехал в автобусе и усмехался: «Не говорит, а вещает, как актриса со сцены. И вздорная – никогда не знаешь, что она выкинет в следующую минуту, от нее, от сумасшедшей, всего можно ожидать. Правда, зато с ней не соскучишься. И художница, и красивая... Вот только трусливая, что ли, или запуганная чем-то».

Он был крепким парнем работягой с располагающей внешностью, вполне прилично одевался, слыл компанейским, и в девчонках недостатка не имел – не то что привык к победам, но обычно девчонки особенно не задумывались, встречаться с ним или нет. И вдруг эта Таня. Она даже немного злила его. Он считал ее странность – игрой, а всякую привязанность к некрасивому – ложным, надуманным. Он твердо знал – все реальное, жизненное намного ценнее всего выдуманного, но ему не хватало жалости, снисхождения к ней – необычной, чувствительной. А она считала его не тонким, с плохим вкусом, ограниченным – про себя называла «лесорубом», но ей нравилась его внешность; в отличие от жениха, он был настоящим мужчиной.

К новой встрече он настроился решительно – идти к ней и с мужланским напором перевести «прогулки и посиделки» в надлежащие отношения, взять приступом художницу недоτροгу. Но она сразу охладила его:

– Давайте сходим куда-нибудь... в театр.

– Пойдем лучше у вас... у тебя выпьем, посидим.

– У меня нельзя.

– Почему?

– Нельзя и все... И потом, у вас что, уже появились требования ко мне?.. Посидеть, в конце концов можно и в кафе – мне не очень хочется, но уж ладно... все-таки – весна.

Накрапывал дождь, и наконец ее зонт пригодился, и, пока они шли под синим колпаком, крепко прижал ее к себе; она вздрогнула и заговорила тревожно, запальчиво:

– Все-таки тяжело с вами. Какие-то властные набегии. Вы слишком прямолинейны. Такой же, как все. Похоже, у вас нет никаких интересов.

Внутри у него все содрогнулось – он не мог понять перемены; накануне сама говорила, что нравится ей, и вот получай – такой, как все, нет интересов! Дикая неразбериха в ее голове! Он почувствовал – тонкая нить, связывающая их, вот-вот порвется, но ее резкие слова задели его самолюбие.

Он высказал ей все: и про свой завод, где работают отборные парни, а не какие-то там хлюпики, вроде ее жениха, и про свой цех, где он может собрать любой агрегат, и про мотоцикл «Яву», который вот-вот купит и, когда прокатит ее с ветерком, она поймет, что все ее разговоры – муть в сравнении с ощущением скорости и пространства.

В кафе она молчала; даже выпив вина, продолжала окаменело сидеть с горькой полуулыбкой. Потом вдруг произнесла – скорее для себя, чем для него:

– Может, мы поссорились потому, что я надела это платье? В нем мне всегда не везло... Нет, здесь другое... Какие-то тяжеловесные отношения. Собственно, я знала наперед, что мы будем ссориться – у нас мало общего. Только слишком рано начали... все-таки – весна.

«Чего нудит? – хмыкнул он про себя. – Все дело в том, что я четко знаю, чего хочу, а она не знает, чего хочет».

Точно угадав его мысли, она глухо сказала:

– Женщины счастливы от маленького внимания: букета цветов, комплимента, – она глубоко вздохнула и радостно посмотрела на него, только и радость у нее была какая-то печальная.

– Может, действительно я дура, слишком много требую от людей?! В сущности, какой я художник?! Просто женщина. Мне надо рожать детей, стоять у плиты... Женщина должна украшать жизнь, создавать уют, теплоту. Так хочется заботиться о ком-то, кому-то быть необходимой. Нет, не кому-то! А настоящему мужчине. Ведь женщина ценит мужчину, который разбудил в ней женщину, поставил ее на место, ну и, конечно, оценил и боготворит... Тянет женщину к земле, заземляет, но и уносит в небо. Мужчину сильного, но и тонкого, заботливого. Только где такого найти? Вся надежда на весну...

Она посмотрела на него нежно, но внезапно что-то припомнила, и ее глаза стали холодными и злыми, как у рыси.

Словесный портрет одного чудака

В юности я был уверен – Гоголь своих персонажей придумал; теперь, к старости, доподлинно знаю – не придумал, а списал с реальных людей. Во всяком случае, я встречал живых Маниловых и Ноздревых, а с Плюшкиным до недавнего времени жил в одном доме. Ему было за пятьдесят, но все, даже дети, звали его Коля, а меж собой Долгоносик – за необычную внешность: квадратное туловище, короткие ноги и вытянутое лицо, на котором выделялся карикатурно длинный нос. Благодаря колоритной внешности, Коля одно время снимался в кино – участвовал в мелких комических эпизодах (без текста); в те дни нам, соседям по дому, он напыщенно объяснял:

– Хм, чтобы пародировать, надо все делать лучше любого актера.

Но затем Колино мастерство несколько поблекло – он стал повторяться, «выкидывать штампы», и его приглашали только в массовку.

– Коля, давай! – кричали на съемочной площадке.

И Коля давал – строил гримасы, участвовал в драках, а то и просто шастал взад-вперед перед камерой, изображая «прохожего». Случалось, столь незначительные роли вселяли в Колю глубокое уныние; однажды, просмотрев старую ленту, где у него была «приличная роль», он сказал мне, что «как актер кончился, жизнь потеряла смысл», и объявил, что покончит с собой – к счастью, на следующий день забыл о своей угрозе.

На самом деле смысл жизни для Коли заключался совершенно в другом, но об этом чуть ниже – необходимо еще упомянуть об основной профессии незадачливого актера.

Специальность у Коли была самая что ни на есть прозаическая – электротехник, тем не менее он считал ее неким продолжением своей привязанности к кино: его мастерская находилась при киностудии и он отвечал за осветительную аппаратуру. Ко всему работники съемочных групп то и дело заглядывали в мастерскую что-либо подремонтировать и недостатка в левых заказах у Коли не было, то есть он выжимал немало выгоды из своей скромной профессии; не случайно мастерскую (обычный хозблок) Коля называл высокопарно – «электростудия», что приближалось к истине.

В общем-то, Колю можно было охарактеризовать бесхитростным чудаком и, безусловно, неплохим работником (к своим обязанностям он относился добросовестно, на работе не пил – только после работы и исключительно пиво), можно было бы считать электрика-актера и неплохим человеком, если бы не его крохоборство. Он скручивал показания счетчика, чтобы меньше платить за электричество; экономил деньги на еде – старался позавтракать у одних соседей, поужинать у других (заходил как бы по делу) – благо все мы считали за честь побеседовать с «актером», узнать киношные сплетни.

Пиво Коля пил в двух местах – в театре и в консерватории – заходил в буфет во время перерыва (когда уже не проверяли билеты), покупал пару бутылок и садился за столик.

– Хм, там и пиво дешевое, и сиди хоть до конца спектакля, концерта, и публика культурная, не то что разная пьянь в пивбаре, – объяснял он.

Как-то Коля подобрал породистую собаку – думал получить вознаграждение, но объявлений о пропаже не появилось, и Коля решил в выходной день продать пса на Птичьем рынке, а до выходного, чтобы избавить себя от лишних расходов, собирал для собаки объедки в столовой киностудии и, по слухам, однажды отнял у вороны рыбу...

В автобусах Коля ездил без билета и не раз бегал от контролеров.

– Неужели тебе не стыдно? – как-то спросил я. – Ты ж не мальчишка!

– Хм, государство обдирает нас как липы. Во всем. Обкрадывает налогами, зарплатами-подачками, – дальше, распалившись, Коля готов был разнести «государство» в пух и прах, но, вспомнив о своем актерстве, «продемонстрировал искусство паузы» и закончил более-

менее спокойно: – И я буду его надувать везде, где можно. Скажешь тоже – стыдно! Государству должно быть стыдно перед народом.

Вот такая у Коли была идеологическая позиция, и многие с ним соглашались, но почему-то не шли по его пути и ничего не делали для того, чтобы приструнить это самое «государство», точнее, чиновников, которые, по словам Коли, «разжирили за наш счет».

Однажды умерла какая-то дальняя родственница Коли – одинокая старуха, которая все свое состояние (никчемное барахло) завещала наследникам (Коле и его двоюродной сестре). Через некоторое время я спрашиваю у Коли:

– Ну как, ты разбогател?

– Хм, знаешь, сколько государство припаяло за наследство?! Я взвесил, да еще перевозка – и плюнул на это дело... Хм, государство за все гребет проценты, – после необходимой «паузы» Коля продолжил: – Вот ты подаришь мне что-то, а часть я должен отдать в казну. С какого хрена?! Кукиш ему, государству нашему!

Коля зарабатывал неплохо, и долгое время я не мог понять, на что он тратит деньги, тем более что семьи у него не было, никаких увлечений (кроме актерства) он не имел, никаких ценностей не приобретал (в его квартире была не мебель, а рухлядь), но однажды Коля разоткровенничался.

В тот выходной день мы с ним сидели на лавке во дворе – Коля высматривал, кто что притащил к бойлерной (туда наши жильцы частенько выкидывали поломанные вещи), я глазел на женщин, которые время от времени пересекали двор. Все началось с того, что я поставил Коле несколько бутылок пива (его любимого – жигулевского) и думал, что он ответит портвейном (моим любимым напитком), но, прикончив пиво (я хлебнул всего два глотка за компанию), он и не заикнулся о портвейне. Я и сам мог купить, но дело упиралось в этику собутыльничества нашего двора, которую никому не позволялось нарушать; вернее, можно было, только следовало оправдаться отсутствием денежных средств или еще чем-либо и непременно реабилитировать себя в следующий раз, но никак нельзя было нарушать этику из-за скупости. Короче, я намекнул Коле про свой любимый напиток, а он сделал вид, что не понял, и начал рассказывать очередную киношную сплетню – кто там у них с кем спит. Порядком обозленный, я сам купил портвейн и опорожнив полбутылки, высказал Коле все, что думал о его ненасытном жмотстве. На этом этапе выпивки он и разоткровенничался:

– Хм, понимаешь... у меня была тяжелая молодость... и я стал откладывать денежки, чтоб черный день не застал врасплох... Сам понимаешь, от нашего государства можно ожидать чего угодно, – здесь, как всегда, Коля выдержал затяжную «паузу», затем заключил с блаженной улыбкой:

– А так у меня лежат кое-какие сбережения и как-то греют... Вот выйду на пенсию, заживу в свое удовольствие, куплю дачку, машинку...

После этого глупого откровения мне сразу стало ясно, почему Коля жил закоренелым холостяком – ну какая нормальная женщина такое выдержит? Впрочем, одна такая нашлась – года два-три она навевалась к Коле, а изредка – и он к ней. Внешне она была страшновата и возраст имела под стать Колиному, если не больше, – возможно, поэтому и привязалась к нему. Бывая у Коли, я не раз слышал, как она звонила, звала к себе, а он, наглец, почесываясь и зевая, бормотал:

– Дорогу оплатишь, приеду.

А потом, обращаясь ко мне, небрежно бросал:

– Хм, надоела! Ей от меня только одно надо... Не успею прийти, бросается в ноги и раздевает меня (да простит мне читатель вольную трактовку Колиного монолога – дурацкая стеснительность не позволяет передать его истинные словечки).

Два-три года Коля только и жаловался на эту свою знакомую – что «с ней нет задушевных бесед», что «ей не понять актерскую душу»; в конце концов эта женщина не выдержала Коли-

ных завышенных требований и бросила его. В их последнюю встречу Коля и вовсе выкинул отвратительный номер: после ее ухода вдруг обнаружил пропажу какого-то медальона (скорее, то, что осталось от медальона, который кто-то выбросил за ненадобностью, а барахольщик Коля подобрал), позвонил своей подружке и проворчал:

– Как ты посмела?! Я тебе его показывал, а теперь он исчез. Кроме тебя никто не заходил!

Это было последней каплей, переполнившей терпение несчастной женщины. А через год, когда в доме меняли трубы отопления, Коля обнаружил злосчастную штуковину за шкафом.

И вот надо же, на удивление всего нашего дома в пятьдесят с лишним лет Коля объявил, что женится, и привел в свою захламленную хибару довольно красивую девушку. Тут же любопытные разузнали, что они познакомились на съемках фильма, где она была статисткой (а Коля уже только таскал софиты), что она из провинции, хочет стать актрисой, но провалилась в театральном училище; будто бы согласилась расписаться с Колей ради жилья и прописки и поставила условие – не прикасаться к ней и вообще не стеснять ее свободу (она рассматривала свою молодость как бесценный капитал); будто бы Коля пошел на это с тайной надеждой, что рано или поздно уломят барышню и фиктивный брак плавно перейдет в эффективный.

Как ни странно, но именно так и произошло. Вначале Коля приучил свою супругицу пить пиво, и в роли собутыльницы она оказалась гораздо талантливее, чем на съемочной площадке, – уже через месяц стала требовать от Коли крепких и (к его ужасу!) дорогих напитков и сигарет (здесь Коле пришлось потрясти свои сбережения – но цель оправдывала средства).

Освоившись в новой роли, девушка существенно расширила ее диапазон – вошла в образ капризной особы: то ей нужны новые туфли, то деньги, чтобы сходить с подругами в кафе. Пританцовывая, она говорила:

– Не забывай, старикашка (так она называла Колю в настроении, в гневе – «старый черт»), у меня огромное будущее. Все говорят – у меня лицо Аллы Ларионовой, а фигура, как у Людмилы Гурченко, а танцую я получше ее. Когда стану кинозвездой, о тебе не забуду – куплю тебе хорошую квартиру.

Обычно заблуждения на свой счет приводят к разочарованию, но, похоже, девушка ничуть не огорчилась поражению в театральном училище, была уверена – несмотря ни на что звездная слава ей обеспечена.

Коля исполнял все желания будущей кинозвезды, но его тревожили сбережения – они катастрофически таяли, и тогда он в свою очередь поставил условие молодой жене: выполнять кое-какую работу по хозяйству. Это было грубейшей ошибкой. В первый же день, когда Коля ушел на работу, его суженая выкинула из квартиры мебель-рухлядь на помойку (в общем-то, там ей и было место). Я думал, Коля убьет новоиспеченную хозяйку. Ничего подобного – промолчал и, скрепя сердце, раскошелился – выдал денежки на новую мебель – девушка настолько запудрила ему мозги своими талантами, что он уже смотрел на нее разинув рот, а нам, его соседям, то и дело говорил о ее гениальности.

Дальше девушка обнаружила недюжинные хозяйские способности – потребовала от Коли отдавать ей всю зарплату и деньги за левые приработки. Все это будущая кинозвезда высказала в повышенном тоне, поставленным актерским голосом, а для большей убедительности под конец вскрикнула:

– Ты жадный, старый черт! Трясешься над каждым рублем! У тебя нет сердца!

Чтобы осмыслить ее слова, Коля впервые выпил вина и, набравшись алкоголя и храбрости, без всяких «пауз» выдал зарвавшейся женушке:

– Хм, я докажу, что у меня есть сердце. Я готов на все.

Могу даже потратить все сбережения, но давай это... выполнять супружеские обязанности. Главные... Хотя бы изредка (я вновь недостаточно откровенно передал его прямолинейные слова).

Неожиданно девица согласилась, причем с такой легкостью, словно речь шла о выпивке, и в дальнейшем более-менее соблюдала договор.

С этого момента Колина семейная жизнь и пошла наперекосяк: во-первых, он умопомрачительно влюбился в молодую жену; во-вторых, в нем пробудился неистовый ревнивец: он следил за каждым ее шагом, подслушивал ее телефонные разговоры, копался в ее сумке, закатывал скандалы, когда она возвращалась поздно (она по-прежнему не ограничивала свою свободу), а наутро просил прощения, задаривал подарками и, что совсем невероятно, – за полгода их совместной жизни растранил почти все, что скопил за многие годы. От постоянной нервозности Коля весь извелся, высох, сильно постарел, стал ощущать боли в сердце.

Его жену это мало заботило; на киностудии она в открытую заводила романы, а дома, выслушивая Колины упреки, отвечала раздраженно и дерзко:

– Ты становишься нахалом, все больше и больше требуешь от меня! Маршировать перед тобой не надо?! Ты забыл, старый черт, что у нас с тобой договор! Остальное тебя не касается.

– Побереги себя, – сказал я как-то Коле. – Эта кукла угробит тебя.

– Хм, наверно, – устало кивнул он. – Зато я с ней живу как следует. И хрен с ними, с деньгами.

Похоже, от женитьбы Коля поумнел, до него дошло, что жизни на пенсии «в свое удовольствие» может и не быть и в его возрасте ничто не гарантировано, кроме дряхления.

Вскоре его благоверная с киногруппой отправилась на съемки в другой город. Два дня после ее отъезда Коля прямо задыхался от тоски и ревности, перед ним вставали жуткие сцены измены жены; на третий день, не выдержав, он взял отпуск за свой счет и тайно последовал за киногруппой, причем, как опытный детектив, заранее достал на работе бинокль, фотоаппарат, магнитофон, чтобы документально изобличить жену «в развратном образе жизни».

Он снял комнату напротив гостиницы, где остановилась съемочная группа, и с утра до вечера наводил бинокль на ее номер. И однажды увидел, как она обнимает мужчину. Пока бежал в номер, придумал несколько вариантов мести, но, открыв дверь, обнаружил совершенно чужую парочку – оказалось, накануне киношники внезапно уехали.

В какой-то момент Коля возненавидел жену и в приступе злости решил отомстить «за все» – вздумал за «бешеные деньги» (последние из сбережений) изменить ей с ее подругой, известной блудницей киностудии (свою известность она приобрела в постели одного известного режиссера); но в последний момент, когда блудница пришла к нему и разделась, явилась жена и объявила, что они все подстроили, чтобы уличить его в гнусности.

Дальнейшая судьба Коли мне неизвестна – несколько лет назад я уехал из того дома.

По одним рассказам, его раскаленное сердце не выдержало перегрузок, и будто бы, лежа в гробу, он погрозил жене кулаком. По другим – красотка жена ушла от него к молодому преуспевающему бизнесмену, забросила кино и просто катается на «мерседесе»; Коле не только не подарила квартиру, даже не сказала «спасибо», но вроде Коля переживал недолго, а выйдя на пенсию, начал увлеченно разводить аквариумных рыбок.

Этим последним рассказам хочется верить – ведь в сущности Коля, как все безобидные чудаки, скрашивал жизнь нашего двора и был моим сотоварищем по безделью в выходные дни и каким-никаким собутыльником, и надо отдать ему должное – он красиво расстался со своим «богатством», ну разве что ему не хватило размаха.

Дачные впечатления

Тот летний дом-шалаш был основательно обжит мелкой живностью: в углах деловито сновали пауки-домовики, по стенам тянулись цепочки муравьев, по полу бегали многоножки, тараканы и мыши, по занавескам и стеклам ползали комары, и мошкара, и непрременные обитатели всех жилищ – мухи, среди которых виднелись и залетные – шпанские, большие, с металлическим блеском; а на чердаке обустроили гнезда осы и трясогузки. От времени дом-шалаш разохся, осел и перекосячился; в его комнате, по наблюдению нового владельца художника Филатова, гуляли сквозняки северного и восточного направлений. Но даже самые мощные сквозняки не смогли выветрить запах самогона, который остался от прежних хозяев дачи. Впрочем, этот запах не смущал Филатова; как большинство художников, он и сам при случае выпивал, но только с интересными собеседниками.

Покупку дачи Филатов оформлял в райцентре; его судьбу как владельца недвижимости определяли члены исполкома и их председатель Корнаухов, который интересы дела ставил выше личных интересов и потому много лет занимал высокий пост, несмотря на частые смены остального руководства.

– На текущий момент и вообще художники нам желательны, – сказал Корнаухов Филатову. – Художники – народ от Бога. Надеюсь, в праздники ты напишешь на транспарантах... божественные слова и изобразишь... (очевидно, он хотел сказать: «божественных людей» – вождей-полубогов, но подумал, что это будет чересчур возвышающее, и закончил мысль несколько принижающе: изобразишь кое-что.

Первое время Филатов не мог нарадоваться на свое жилище, работал как одержимый, не выпивал, хотя все деревни вокруг дачного поселка по вечерам заполнялись пьющими компаниями, с дачниками почти не общался, за исключением непосредственного соседа – старика по прозвищу Академик-теоретик, который всем давал советы, «что плодотворней сажать», «как делать продуктивные реформы», но сам ничего не выращивал. И дачниц Филатов к себе не приглашал; на их неугасающее любопытство – «какие картины вы пишете?», на призывы – «сходить на речку искупаться», «устроить вечерние гуляния» неизменно твердо отвечал:

– Пока работается, мой холостяцкий дом – моя крепость. Закончу работу, тогда, пожалуйста, что угодно. А пока никому не удастся вскружить мне голову, устроить красивое заблуждение.

Так и провел первую половину лета – как исполин творческого духа – за мольбертом и перекурами в палисаднике, среди высокой горячей травы; раз в неделю ходил за продуктами в сельмаг соседней деревни, да иногда по утрам окунался в реке, «чтобы стряхнуть сон и бодрячком наброситься на холсты».

Вторую половину лета Филатов посвятил беспечному отдыху: перезнакомился со всеми поселочанами, с каждым дачником распил бутылку и поговорил по душам, каждой дачнице показал свои картины, с каждой искупался в реке и погулял – то есть поучаствовал в небольших, но емких жизненных событиях. Затем Филатов стал осваивать близлежащие деревни «для сбора впечатлений», а впечатлений там было предостаточно – в тех населенных пунктах кипели нешуточные страсти.

Как-то в жаркий полдень, когда солнце замедлило свой бег, Филатов сидел на окраине села и делал карандашный набросок местной церквушки. Та скромная церквушка давно приглянулась художнику: ее медный купол выглядел намного благороднее позолоченных, броских куполов, в нем читались и достоинство, и сдержанность. Филатов сидел на раскаленных добела камнях и спокойно рисовал церквушку, как вдруг услышал жуткие вопли, и мимо него пронеслась растрепанная женщина, высокая и прямая, как сосна, и такая же золотистая от загара. За женщиной, пыхтя и отдуваясь, пробежал мужик с топором, на его разорванной рубахе вид-

нелась кровь. За мужиком, поднимая пыль, протопала галдящая толпа – старики, старухи и дети – и ни одного парня или мужика. «Он ведь ее зарубит!» – мелькнуло в голове Филатова, и, отбросив рисование, он припустился за мужиком. Догнал и врезал ему кулаком в затылок.

Мужик свалился, отполз в тень под деревья и облегченно заулыбался – казалось, только и ждал этого момента. Подбежали старики, старухи, дети; отгоняя мух от потных лиц, стали объяснять художнику:

– ...Она ему разбила нос... Он уже лет пять за ней бегаёт... У него тридцать две болезни и на все есть справки...

Внезапно Филатов почувствовал страшный удар сбоку, удар пришелся в глаз и Филатов не сразу разглядел, кто его нанес, а когда разглядел, невероятно удивился – перед ним стояла растрепанная особа, которую он спас от смерти. Она была черная от гнева, словно сосна, опаленная молнией.

– Сволочь! – кричала она, размахивая кулаком перед носом Филатова. – Кто тебя просит лезть не в свои дела?! Ты что, с адом в душе?!

– ...Она баба горячая, – сказал один старик Филатову на обратном пути. – Может спрыгнуть с крыши дома, прокатиться на бешеной лошади... А на мужика своего набрасывается с кулаками... Ну он и прибегает к средствам самозащиты, припугивает ее топориком... Здесь наемни приезжало начальство из райцентра и ихний главный, хватистый Корнаухов – все отпетые бездельники, только и умеют пужать да страшать. Взяли подписку с бабы, чтоб не била мужика, а с него – чтоб не брался за топорик... А вообще он мужик тихий, не пьет, чтоб не беспокоить соседей... У него и предки все такие были. Так что и его корни трезвые...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.